

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Сёмка Лебедь был навеселе, и эта хмельная весёлость делала его благодушным и ироничным. Люди в утренних заботах, трудолюбивых стараниях, торопясь куда-то успеть, что-то добыть, кому-то услужить, казались ему смешными. Им была недоступна та вольная праздность, лихая бесшабашность, в которой пребывал Сёмка. Ему казались смешными люди, сидящие в автомобилях, перебегающие улицу на зелёный свет, бредущие по тротуарам с кульками и сумками. Он их не презирал, а жалел и над ними посмеивался.

Он выпил в рюмочной ещё одну стопку, закусил ломтиком вкусной селёдки. Кинул на прилавок купюру, царственно отказавшись от сдачи, и отправился на рынок, где его ожидало весёлое развлечение.

И здесь, на рынке, всё ему казалось смешным: деревенские бабки, разложившие на прилавке тощие пучки укропа и лука, несколько собранных в лесу подберёзовиков и красноголовиков; угрюмый мужик в белом халате, застывший, как истукан, над мешком картошки; проворные, с маслянистыми глазками азербайджанцы, соорудившие величественные дворцы из персиков, абрикосов и яблок; молдаване, торгующие норвежской сёмгой, положившие голубоватых серебряных рыб в корыта с мелким льдом. Были смешны ему и покупатели, хватавшие на пробу щепотки тыквенных семечек, слизывающие с ложечки капельку меда. Особенно смешон был один придурок, принимавший из рук молдаванки огромную сёмгу и просивший соседа сфотографировать его с рыбиной.

Единственным человеком, заслуживающим серьёзного отношения, был мясник. Он стоял перед огромной, пропитанной кровью плахой, на которой лежала половина свиной туши. Мокрым блестящим топором он разрубал её на хрустящие ломти.

— Здорово, братан, — Сёмка пробрался к мяснику за прилавок. На прилавке была выставлена свиная голова с красно-белым рулетом перерубленной шеи, с глазами, остекленевшими среди белых ресниц. — Скажи,

где купить свинью? Только целную, до того, как она побывала в твоём кабинете.

Мясник, не выпуская из рук топориче, смотрел на Сёмку, словно раздумывал, куда вогнать топор: в белые рёбра свиньи или в башку мешающего ему работать бездельника.

— Цельную не достать, — ответил мясник тонким писклявым голосом. — В холодильнике полтуши висят. Головы отдельно.

— Ну, и ладно. Сошьём. Цельную сделаем. — Сёмка тронул пальцем стеклянный глаз свиньи, почувствовал его упругость.

— Зачем шивать хочешь? — голос у мясника был бабий, лицо безвольное, под грязным, измызганным кровью фартуком вздувались жирные груди.

— Опыты ставим. Сперва на свиньях, потом на людях.

— Какие опыты?

— Оживляем. Сперва, значит, сошьём. Потом мастикой смажем. Потом в растворе неделю держим. Потом специальные люди, которые в лесах живут, разговоры читают. И вот, оживляем.

— Где такое делается? — глазки мясника замерцали, словно перекатывались синие шарики.

— В лаборатории, в секретной. Запретная зона.

— Может, я пригожусь? Прежде чем шить, разрубить надо.

— Поговорю с начальством. А ты, братан, голос поправь, сырое яичко попей. А то не поймёшь, что у тебя промеж ног расположено, — Сёмка хмыкнул и пошёл к директору рынка договариваться о свиних тушах.

Он сунул директору, кладистому кавказцу, денег. В холодильнике, пахнущем холодной прелью, среди заиндевелых, разрубленных надвое туш выбрал шесть половин и три головы с отвердевшими от мороза ушами и кровавыми катышками в ноздрях. Нанял грузовичок, заплатил грузчикам, чтобы те забросили туши в кузов, и отвёз в Копалкино. Там выпил водку и во дворе своего неопрятного дома занялся шиванием туш.

Несколько часов прилежной работы, опорожнённая бутылка водки — и все туши были сшиты. Сёмка изготовил из досок раму, похожую на виселицу. Повесил свиней. Они покачивались, краснея рваными рубцами, глядя немигающими, в белых ресницах глазами. Высоко над Копалкиным пролетел самолёт, прозрачный, как тень. Сёмка смотрел на самолёт, улетающий в неведомые заморские страны. Звук оседал, как металлическая пыль.

В это время Плотников завершал текущие дела в администрации и готовился ехать в дальний район губернии, где намечалось погребение солдатских останков. Тех, что неутомимые поисковики находили в лесах и болотах, в засыпанных блиндажах и окопах.

Мемориал находился у самого шоссе — высокая стела, перед которой скорбящая женщина простёрла руки к каменным надгробьям. На одних надгробьях были начертаны имена, под другими покоились безвестные воины. Был вырыт глубокий ров, желтевший песком. На краю стояло три десятка маленьких красных гробов с прахом погибших, и эти маленькие, словно для младенцев, гробы вызвали щемящую нежность. У гробов выстроились поисковики в грубых камуфляжах. Немолодые, тяжеловесные, земляные, они добывали в своих экспедициях истлевшие кости, ладанки с именами погибших, извлекали из костяных кулаков ржавые pistols и трёхлинейки. Тут же стоял взвод десантников — розовощёкие, в тельняшках, с парадными позументами, с автоматами. Солнце сияло на медных трубах и тарелках оркестра. Вокруг деревянной трибуны толпился народ из соседних селений. Стояла машина ГАИ. Подошёл священник в золотой епитрахили, и Плотников узнал в нём отца Виктора — худого, с запавшими глазами старика, который принимал его в деревянной церкви с иконами героев войны.

Произнося пламенную, проникновенную речь, Плотников видел, как пошлая женщина подносит платок к глазам, как девочки держат в руках веночки, как проезжающие машины замедляют бег, протяжно сигнали. Плотников смотрел на красные ромбики гробов. В них лежали младенцы, в которых превратились убитые солдаты. Он почувствовал, как дрогнули в нём рыдания, почувствовал свою нераздельную связь с женщиной, отиравшей

слёзы, девочкой, держащей венок из ромашек, с десанником, браво сжимающим автомат, с усталым стариком, превозмогшим болезнь и пришедшим на панихиду.

Вслед за Плотниковым говорил усатый поисковик:

— Мы нашли останки офицера. На нём были истлевшие погоны и португеза. Костяными пальцами он сжимал револьвер, в барабане ещё оставалось два патрона, когда его сразила пуля. Теперь этот офицер здесь, среди нас. Мы нашли два скелета, немецкий и русский. При них были ножи, русский нож был среди костей немца, а немецкий нож — среди рёбер русского. Они погибли в рукопашной. Теперь этот безвестный солдат среди нас. Мы нашли в лесу советский броневилок. В нём — останки водителя. Сквозь его скелет проросло дерево. Может, его душа превратилась в дерево? Теперь этот водитель среди нас.

Последовала команда. Поисковики по двое подходили, поднимали гробы на плечи, несли к могиле, выстраивались на краю. Десантники воздели автоматы, готовясь к салюту. Оркестранты прижали губы к трубам, развели в стороны тарелки, собираясь ударить.

На трассе, истошно сигнала, возник грузовичок. В кузове на деревянной перекладине были подвешены три свиных туши. На головах у них были пилотки со звёздочками. Красовались золотые погоны. Свисали офицерские полевые сумки. Были пришпилены боевые ордена и медали. Кузов трясся, туши раскачивались, страшно кровятели стянутые проволокой рубцы. Среди туш танцевал, корчил рожи пьяный Сёмка Лебедь, выкрикивая сквернословия.

Грузовичок промчался. На трассе возник длинный, чёрного цвета, с открытым верхом “Хорьх” времён фашистских парадов. В машине, подражая фюреру, прикрывая ладонями пах, стоял Головинский. Он взмахом приветствовал толпу. Рядом с ним Беркович играл на саксофоне арийский военный марш. Обе машины пронеслись, исчезая на трассе.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Вернувшись с погребения, отец Виктор приступил к духовной брани. Отказал себе даже в минутном отдыхе — даже не прилёг на уютную кровать. Занялся выпечкой просфор, готовясь к ночной литургии.

Квашня была накрыта клеёнкой. Нежный, сладкий аромат восходящего теста разносился по уютному дому. Отец Виктор вывалил тягучий, желтоватый ком на гладкую доску. Мял, сворачивал, раскатывал и снова сминал, передавая тесту своё тепло, свои силы, свою молитвенную волю. Чувствовал телесную нежность пшеничной мякоти, которая взрастала под его ладонями.

Отдыхал, утомившись, глядя, как в оконце гаснет день, и к дому подбираются тени близкого леса. Сегодня он не ждал прихожан. Никто не звал его совершать требы. Никто не заказывал панихид и не готовился к венчанию. Выпечка просфор была для него священным действием, во время которого он повествовал Господу о своих страхах, о грозящей России беде, прося защиты. Прикосновениями к пшеничной плоти он заряжал её своими мольбами. Во время литургии тесто, наполненное его откровениями, превратится в тело Господне, и откровения соединятся с Господом.

Теперь, стремясь запечатать зло, он отводил от России нацеленные на неё снаряды и пули. Отгонял от её берегов авианосцы и подводные лодки. Занавешивал Покровом Богородицы небо, делая Россию невидимой для самолётов, ракет и космических спутников.

Передохнув, отец Виктор вновь вывалил куль теста на доску. Стал мять, комкать, раскатывать, слыша тихий, созревающий в тесте жар. Подряник был в муке, к пальцам пришла тягучая мякоть. Он испытывал к тесту нежность, словно к новорождённому ребёнку, вдыхал в него своё покаяние, верил в целомудренную силу пшеницы, способную запечатать зло.

Отец Виктор бережно выложил тесто на широкую доску, раскатал в плоскую белизну. Гладил, ласкал, вдыхал дивные ароматы. Взял форму

открытыми кромками, напоминаящую серебряный подстаканник. Стал вырезать из теста круглые тельца. Разложил свои изделия ровными рядами. Каждое, словно крохотное лицо, излучало тихое свечение.

Своей молитвой он разрушал злокозненные заговоры. Запрещал тем, кто клялся в любви к России, а сам замыслил убийство. Он ссорил заговорщиков, путал их планы, избавлял Россию от жестокой доли, спасал страну от смуты и раздоров, от расхитителей и стяжателей. Он чувствовал, как бьётся и трепещет зло, уловленное в тенёта его молитв, словно чёрная обессилевшая птица.

Отец Виктор соединял две части просфоры, накладывая одну на другую. Лепил крохотные скульптуры, напомилавшие белые грибки. Пальцы чувствовали тёплый бархат теста. Ряды просфор напоминали воинство в белых одеждах.

Он поражался глубине божественных смыслов, заключённых в просфоре. Духовное и телесное в человеке. Человеческое и божественное в Спасителе. Земной, исполненный греха род людской и преображённое, снискавшее рай человечество. Он хотел проникнуть в глубину божественных тайн. У него начинала кружиться голова, и обмирало сердце. Его пальцы касались теста, которое чудесным таинством претворится в тело Господне. Его пальцы касались Господа, и от этого становилось страшно и восхитительно.

Он обращал грозное предупреждение алчным сребролюбцам. В безумном влечении к злату, поклоняясь золотому тельцу, они забыли все заповеди, нарушили все человеческие и божественные законы. Вопиают народ, раздевая донага слабые и беззащитные, окружают себя обирающей роскошью, кичатся дворцами, которые обречены на сожжение. Он изгонял их из русской жизни, как Господь изгонял торговцев из храма. Превращал в ржавчину их яхты и самолёты, развеивал в прах неправедные состояния. Он был гневен в своих укоризнах. Верил, что на стяжателей будет наложена запрещающая печать.

Отец Виктор достал жестяной чёрный противень. Омыл водой. Насухо вытер чистым полотенцем. Извлёк коробку, где лежали восковые соты, ещё недавно полные мёда и пчелиного гула. Натёр противень воском до блеска, слыша медовые благоуханья. Стал укладывать просфоры на противень. Каждую просфору он целовал, словно прикладывался к иконе. Белые просфоры отражались в чёрном подносе, и казалось, что маленькие лебеди плывут по ночному озеру.

Он изгонял из народа уныние, одолевал неверие. Укреплял в деяниях воинов, художников, хлебопашцев. Он изгонял зверя, который поселился в народе. Находил этого зверя в людских сердцах, молился перед хрипящей пастью. Загонял зверя в подземную берлогу и заваливал камнем.

Настала ночь. В доме было темно. Только горела лампада перед образом, и тихо светились просфоры, над которыми слабо трепетало сияние. Пора было топить печь.

Отец Виктор принёс из сеней дрова. Развёл в плите огонь, глядя, как танцуют красные язычки на полу, и бежит по стенам золотистая рябь. Прилёг на кровать, ожидая, когда накалится духовка. Поленья, которые он принёс, огонь, который запалил, плита, в которой накалялась духовка, — всё составляло таинство. Всё было священно, связано с преображением хлеба.

Он молился о президенте, укреплял его в благих деяниях, одевал покровом благодати, заслонял от яда, кинжала и пули, от колдовских обольщений и слабостей, чтобы вера его не тускнела, чтобы не искривлялись его пути, и он оставался на том единственном, что указал ему Господь, выбрав из миллионов людей, дал ему великую власть, наставил его на служение Родине. Там, в кремлёвских палатах, пусть услышит он молитву деревенского попа и пусть молитва поможет ему в великой брани.

Красные язычки танцевали на полу, словно письмена. Отцу Виктору казалось, что молитва его услышана.

Он открыл дверцу духовки. На него полыхнул бесцветный жар. В двух местах духовка прогорела, и в щелях трепетал белый свет. Он осторожно взял противень, поставил в духовку, чувствуя, как жар коснулся теста. Оно

словно вздохнуло. Пшеничный дух, медовый аромат, смоляное благоухание поленьев сладко опьяняли его. Он подумал, что так пахнут ангелы, несущие райскую ветвь.

Был ещё человек, нуждавшийся в защите. Губернатор Плотников, который случайно явился в храм и исповедался.

Отец Виктор желал ему победы. Желал одоления бед. Он вслушивался в едва различимый звон, доносившийся из духовки, словно пели крохотные колокола. Думая о Плотникове, отец Виктор посылал ему эти едва различимые звоны, чтобы они вдохновили губернатора на служение.

Пришло время извлекать просфоры из духовки. Отец Виктор помолился, прочитал "Отче наш". Схватил полотенце и вытянул из духовки противень. Просфоры золотились, как малые слитки. От них шло сияние. Над каждой горел крохотный нимб. Отец Виктор любовался своими изделиями. Принёс корзину и, обжигаясь, складывал в неё драгоценные слитки. И в каждом был запечатлён лик Божий, в каждом поместилась молитва, каждый, как малое светило, освещал мироздание.

Он вышел из дома в ночь, неся корзину. Церковь, как тёмный корабль с мачтой колокольни, была окружена звёздами. Они то разгорались, то меркли, роились, словно разноцветные пчёлы, собирались в сверкающее множество, а потом разлетались, оставляя после себя млечную пыль. Голова начинала кружиться, когда отец Виктор смотрел на колокольню, вокруг которой текли миры, переливались светила, и храм казался ковчегом, плывущим среди звёзд.

Тяжёлым скрипучим ключом он отворил церковь. Пахнуло сладким воском, вялой травой, засохшими букетами цветов, которые отец Виктор оставил сохнуть в вазах перед иконами. Едва ощутимая теплота скопилась в храме за долгие годы служений и молитвенного стояния прихожан, с тех времён, когда храм был многолюдным, и эту теплоту надышали те, кого уже не было в живых.

В храме было темно, только светила одинокая красная ягода лампы. Были едва различимы окружённые золотом и лазурью полководцы, герои и мученики.

Отец Виктор вошёл в алтарь. В сумраке лишь угадывалась икона с изображением отца. Зажёг свечу и увидел живые строгие глаза лейтенанта, над которым мчался победоносный всадник. Облачился в золотую тяжёлую ризу и начал богослужение. Долгую одинокую литургию в пустом храме, по которому летал его слабый голос. То замирал, то вспыхивал слёзным восторгом.

Отец Виктор видел, как пространство вокруг престола начинало волноваться, в нём возникали алые, голубые, золотистые вспышки. Слышался шум невидимых крыльев. Его лица касались жаркие вихри. Что-то приближалось, огромное, грозное, лучезарное. Потир с вином и дискос с пшеничным тестом воспарили в дивном сиянии. Чудесный бутон растворился, и хлынул свет такой ослепительной белизны, что стало светло, как днём. В церкви стал виден каждый сучок в потолке, каждая капелька воска, каждая золотая крупица в нимбе. Воины священных парадов, маршалы великих побед, герои божественных подвигов стояли у престола, и лейтенантские кубики на воротнике отца светились, словно капельки крови.

Победа была одержана. Отечество спасено. Отец Виктор в изнеможении опустился на стул у стены алтаря и смотрел, как гаснут над престолом голубые зарницы.

Он дремал, и ему казалось, что церковь превратилась в огромный бриллиант, переливается чудесными радугами.

Проснулся, когда в алтаре пролегла алая полоса зари. Услышал, как стукнула дверь. Чьи-то шаги раздались в гулкой пустоте храма. Удивляясь этому раннему посещению, отец Виктор вышел из алтаря и увидел человека, что нетвердо стоял на ногах, крутил головой, рассматривая иконы с изображением парадов и битв.

— Ты кто такой? — спросил отец Виктор.

— А, это ты, поп! Я-то кто? Я Сёмка Лебедь. Многие меня знают, а кто не знает, ещё узнает! — человек засмеялся, крутанул головой и едва удержался на ногах. Он был пьян. Его глаза зло и весело оглядывали храм,

а губы улыбались, словно в убранстве храма он находил что-то забавное и смешное.

— Ты что пришёл? — спросил отец Виктор.

— Шёл, шёл и зашёл. А что, нельзя? По билетам пускаешь? Мне говорили, здесь чудной поп живёт. Икону Сталина держит. Дай, думаю, посмотрю. Где она, икона? — Сёмка Лебедь водил глазами по стенам и увидел икону, на которой сияла Божья Матерь Державная. Под ней, в окружении победоносных маршалов, стоял Генералиссимус в белом кителе с бриллиантовой звездой. — Ишь ты, богато! Ничего не скажешь! Не вдали люди! — он подошёл к иконе, чуть не опрокинув стеклянную вазу с вянущими колокольчиками и ромашками. — Что у тебя церковь качается? — он захохотал, разведя руки в стороны, словно канатоходец, желая удержать равновесие.

— В Божий храм не являются пьяным. Ступай, проспись.

— А я специально напился. Страшно было идти. Как можно тверёзым на такую икону смотреть? Ведь Сталин душегуб, столько народу сгубил. А его на икону. Вот я и выпил пол-литра.

— Ступай, отдохни. А потом приходи, исповедуйся.

— Нет, ты мне скажи! Если Сталин душегуб, столько народу перебил, и его в святые, значит, и меня в святые можно? Я тоже душегуб. Ты художнику сделай заказ, пусть с меня икону напишет. Ты повесь её тут. Старушки будут молиться, я им помощь буду оказывать. Косых, дурных, горбатых — всех буду лечить. А тебе с этого будет доход.

— Уходи. Тебе здесь не место.

— А ты погоди меня гнать. Я к тебе за делом пришёл. Хочу венчаться. Можешь меня повенчать? Живём не венчанные. А это грех. Детишки пойдут, в блюде зачатые. А мы не хотим, чтобы в блюде. Хотим по-божески. Она, невеста моя, девушка набожная. Меня к тебе послала. Повенчай нас.

— Кто невеста твоя?

— А Хавронья Ивановна. Я её на бойне купил. Честная, не гулящая. Только у неё сиськи не как у всех. У Анюты, к примеру, сиськи между рук болтаются, а у Хавроньи Ивановны между ног. Непривычно.

— Тяжело тебе будет перед Господом стоять. Много у тебя сажи в душе накопилось. Ступай, проспись, а потом приходи на исповедь.

— А ты меня не пугай, поп! У меня сажа в душе, потому что был на пожаре. Там и наглотался сажи. Я пожары люблю. Лето сухое, знаешь, как всё горит? Хочешь, твой храм сожгу? Он же у тебя сухой, трухлявый. Сразу займётся. Ой, а это кто? — Сёмка Лебедь указывал на икону, где лётчик с нимбом, в кабине бомбардировщика, объятый пламенем, пикировал на колону танков. — Это кто такой?

— Капитан Гастелло.

— Гастелло не знаю. Брателло знаю. С него и начнём. Он уже и так горит, а мы огонька добавим!

Сёмка Лебедь запалил зажигалку, стал подносить к сухим венцам сруба с торчащим из пазов мхом. Огонёк зажигалки уже касался мха, как вдруг из иконы что-то бросилось на Сёмку, будто с грохотом и блеском прынул пикирующий бомбардировщик. Сёмка вскрикнул и побежал из храма. Выскочил и помчался по просёлку, закрывая затылок. А его настигал разгневанный лётчик с нимбом, давил слепящими чашами винтов, рыхлил просёлок очередями пулемётов и скорострельных пушек.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Один из кабинетов Головинского располагался в Статуе Свободы, в её голове. Голова была отлита из толстого стекла, лучистый венец над её челом был хрустальный. Солнце в течение дня текло, переливаясь в хрустале множеством радуг. Сидящие в кабинете испытывали от этих перетекающих спектров сладкое безумие.

Головинский выслушал отчёт своего пресс-секретаря Лунькова, у которого вместо носа горел многоцветный спектр:

— Вы, Пётр Васильевич, обладаете даром общаться с этими продажными журналистами. Они получают от вас деньги за клевету, но не чувствуют к себе отвращения. Им кажется, что они спасают Родину от тирана, — Головинский слегка смеялся зрячки, и нос Лунькова превращался в большую перламутровую пуговицу.

— Когда я работал в разведке, Лев Яковлевич, я занимался энтомологией. Изучал ядовитых бразильских муравьев и перуанских жуков. Их укусы смертельны. Наши журналисты — те же жуки-трупоеды и муравьи-отравители. Они питаются трупным ядом и жалят, когда яд в них скапливается, — Лунькову казалось, что в щёку Головинского вонзилось радужное остриё, и это было смешно.

— Когда мы придём в Кремль, Пётр Васильевич, я буду ходатайствовать, чтобы вас назначили министром информации.

Луньков раскрыл компьютер, и по экрану побежали графики. Взлёты, провалы, неожиданные всплески и падения. Головинский внимательно рассматривал графики, в которых билось сердце Плотникова. Это сердце можно было потрогать, сдвинуть, причинить ему боль, вызвать удушье. Головинский был взволнован. Его волнообразный нос удлинился, затрепетал, на кончике возник пульсирующий пузырёк, словно колбочка, в которой дрожала прозрачная плазма.

— Какая положительная динамика! — Головинский страстно вглядывался в разрывы и перебои графиков. — Вот эта кардиограмма, как я понимаю, после первой публикации фотографии. А это после ухода жены и сына. А это после ухода любовницы. А эти великолепные экстрасистолы, эта божественная тахикардия, эти признаки мерцающей аритмии — после сожжения дома и явления свиной-орденоносцев. Что же далее?

— Далее, Лев Яковлевич, патриотическое шествие, на котором выступит Плотников. Если мы его сорвём, то это уже близко к инфаркту.

— Вот видите, не надо тратить миллиарды рублей, чтобы скинуть его выборным путём.

— Теперь, Лев Яковлевич, я хочу показать вам последний опус Паолы Велеш. Вы будете немало удивлены, — Луньков нажал на клавишу, открыл новый файл, и Головинский углубился в чтение.

“Губернатор Глотников, — ой, простите, — Скотников, — ой, что это я, право, — Плотников, — похоже, причастен к поджогу собственной дачи. Как указывают охранники, машина губернатора появлялась перед дачей вечером накануне поджога, но из машины никто не вышел. К тому же, из крутов, близких к губернатору, стало известно, что накануне поджога губернатор в порыве воодушевления называл Герострата великим инсталлятором, а Кутузова, спалившего Москву, — великим пироманом. А Нерона, спалившего Рим, великим огнепоклонником. Пусть следствие примет к сведению эти высказывания губернатора. Его психика расстроена недавними разоблачениями — разоблачениями нашего губернского Дон Жуана. Только помрачением можно объяснить недавний эпизод, случившийся у мемориала павших воинов во время погребения останков. Мёртвые свиньи с воинскими наградами были использованы губернатором для рекламы свиноводческих комплексов, развёрнутых в губернии. Страсть к наживе, затмевающая в человеке совесть, честь и историческую память, — характерная черта нашей патриотической элиты. От неё можно ожидать любых нарушений не только духовной этики, но и правовой. Я, Паола Велеш, очень серьёзно отношусь к угрозам в мой адрес со стороны губернатора. Человек, сжигающий родовое гнездо и глумящийся над подвигом отцов и дедов, способен на самые несусветные преступления. И я, рассказывая об этих угрозах, уповаю на гласность, которая защитит меня от происков губернатора-свиноубийцы.

О, моя память, моё умиление, мои сны, мои детские чудные видения, когда я лежала на бабушкиной широкой кровати. На стене — её любимый текинский ковёр. В воздухе, в луче апрельского солнца реют цветные пылинки, излетевшие из шерстяного ковра, словно мерцающие разноцветные искры. Переливаются, текут, исчезают; алые, зелёные, синие. Я люблю, мечтаю, мне кажется, на каждой пылинке — чудесный волшебный город

с фронтоными домами, улочками, цветными фонариками. В этом городе жи-вёт крохотная девочка в маленьком домике, лежит на кровати и смотрит, как переливаются над ней пылинки, и на каждой крохотный город с цветными фонариками, и эта крохотная девочка — я. Где девочка? Где пылинки? Где бабушкин ковёр? Где милая обожаемая бабушка? Только во мне, в моих снах, в моих слёзных воспоминаниях.

Я иду с мамой по осеннему лесу. Вся земля под деревьями в золотых опавших листьях. Так сладко пахнет родным лесом, голубым студёным небом, из которого нет-нет да и брызнет холодная капля, прынет бесшумная птица. Из листвы выглядывает сыроежка с зеркальцем воды в розовой шляпке. А рядом — череда мухоморов, красные, в белых крапинках, один меньше другого, как выводок, что вышел на прогулку. Мама с корзинкой, наклоняется, показывает мне подосиновик, я вижу его коричневую бархатную шляпку, мамино счастливое лицо, её тёмный, с бледными розами платок. Много лет спустя я нашла в шкафу этот платок. Розы выцвели, края обтрепались, но в нём каким-то чудом сохранилась еловая иголка, быть может, из того чудесного невозвратного дня. Я целовала платок, вытирала слёзы розами, вспоминала маму, её счастливое лицо, сыроежку с розовым зеркальцем воды.

И ещё одно чудесное воспоминание — моя первая влюбленность, целомудренная и прекрасная. Нет, нет, не любовь, а лишь дуновение любви, той, что ещё предстояла. Мой преподаватель в университете, аспирант, читавший нам курс русской поэзии. Какой у него был певучий, волшебный голос, когда он читал нам стихи Тютчева, Гумилёва, Есенина! Какие у него были восхищённые глаза, словно он сам был влюблён в тех прекрасных женщин, которым поэты посвящали стихи! Как чудесно ниспадали ему на плечи светлые лёгкие волосы! Как изысканно он повязывал шелковый галстук! Каким красивым был его почерк! Я послала ему записку, признаваясь в любви, и он прислал мне ответ, обращая моё признание в милую шутку. Мы гуляли по вечернему городу, он прижимал к глазам мой прозрачный шарф и говорил, что вокруг фонарей зажигаются тихие радуги, и весь город становится похож на крыло стрекозы. Он поцеловал меня один только раз, под цветущим каштаном. И сказал, что здесь впервые увидели друг друга Пушкин и Наталья Гончарова. Ещё он сказал, что завтра уезжает во Францию читать курс лекций, и мы, наверное, больше никогда не увидимся. Мне вдруг стало так больно, словно эта боль пронзила белые цветы каштана и моё сердце, и фиолетовые сумерки, в которых бежали огоньки машин, и всё мироздание, в котором меня обрекали на вечное одиночество. Он уехал, и эта боль постепенно стихла. Превратилась в сладость, в сокровище, которое я приобрела накануне своей настоящей любви. А эта целомудренная влюбленность была только дуновением, которое возвещало приближение истинной, страстной женской любви.

Что мне делать? Я в тисках, в западне! Этот страшный деспот мучает меня, околдовал меня, завладел моей волей, заставляет вершить чёрные дела! Я причиняю смертельный вред незнакомому мне человеку. Я грешница, преступница. Я знаю, это зло вернётся ко мне и меня уничтожит. Я хочу бежать, скрыться, сменить имя, изменить лицо. Хочу спрятаться в самый дальний лесной монастырь и отмаливать свой грех. Ухаживать за больными, помогать сиротам, взять на себя самые тяжёлые, непосильные труды. Господи, помоги мне! За что мне такое, Господи!”

— Ну, что вы скажете, Лев Яковлевич? — Луньков наблюдал, как Головинский печально и нежно гладит экран компьютера, словно касается чёрных, в стеклянном блеске волос Паолы. — Что будем с этим делать?

— Будем восхищаться, будем сострадать, будем беречь эту хрупкую беззащитную душу. Отделите первую часть от второй. Вторую направьте в папку особенно дорогих для меня документов, где содержится информация о мировом рынке бриллиантов. А первую часть разместите на сайте “Логотипа”, как обычно.

Луньков послушно и умело выполнил указание Головинского: повесил обличительный текст Паолы на сайт “Логотипа”.

Лето уходило, оставляя по себе золотой след. Воздух, голубой и студёный, был напоен таинственным светом, от которого печалилась и возвышалась душа.

Знала о скорых прощаньях, хотела их избежать, продлевала это хрупкое золотое время, за которым притаилась тьма, бури, метели, набивающие снегом мёртвые травы. Но теперь кругом стояли сады с тучной тёмно-синей листвой, в которой, как лампы, светились яблоки.

В лесах было просторно, ветер вычёсывал из красных осин молчаливых птиц. Лесные дороги были в жёлтой листве, и вдруг под ногами возникал волнистый оранжевый лист осины, и в нём дрожала голубая, отразившая небо капля. В полях летели невесомые паутинки, чуть вспыхивая на солнце, и множество едва различимых паучков неслись в пустоте, будто навсегда покидали землю. Реки наполнились густой синевой, будто в их омутах укрылось миновавшее лето. И ты не можешь наглядеться на белые туманы, на последние полевые цветы, на разноцветные иконостасы лесов. На дне твоих глаз копится золотое свечение, и ночью, охваченный неизъяснимой тревогой, ты не можешь уснуть.

Плотникову предстояло участвовать в торжестве, посвящённом Дню Губернии.

Многолюдное торжество начиналось днём, а ранним утром он посетил завод, производящий корабельные ракеты класса “море—море”, именуемые “убийцами авианосцев”. Ещё недавно здесь простиралась пустошь, зарастающая лесом. Теперь же кристаллические цеха, казалось, опустились прямо из неба. Разбегались во все стороны шоссе́йные дороги. Тепловоз осторожно тянул заплombированные вагоны с грузом готовых ракет.

Вдалеке светлели коттеджи персонала. И Плотников, оглядывая преображённый ландшафт, радовался воплощению своей индустриальной мечты.

Ему показывал цех директор, блондин в прекрасно сидящем костюме, в модных туфлях, в красиво повязанном галстуке, словно только что явился с великосветского приёма. Цех сквозь стеклянную кровлю был освещён водянистым солнцем. На стапелях стояли ракеты. Их было четыре. Чёрные, глянцеви́тые, с заострёнными головами и горбатыми спинами, они напоминали дельфинов, которые мчались один за другим. У ракет работали группы монтажников. Погружали головы в приоткрытые люки, светили лампами, встраивали в чрево электронные блоки, тянули жгуты разноцветных проводов, следили за показаниями мониторов. У каждого дельфина билось электронное сердце, смотрели электронные глаза. В каждой заострённой голове таился чудовищный взрыв.

Работа монтажников была филигранной. Ракеты начинались золотом, платиной, серебром. В них вживлялись лазеры, радиолокаторы, приёмники инфракрасных лучей. В полёте они обгоняли звук. Перед тем, как убить авианосец, они совершали немислимый завиток и наносили разийщий удар. Директор смотрел, как оживают ракеты, поворачиваются хвостовые рули, словно дельфины колышут лапами.

— Мы, Иван Митрофанович, работаем в три смены. Портфель заказов переполнен. Министерство обороны торопит. Адмиралы на заводе днюют и ночуют. Здесь, у нас, в губернии начинаются морские сражения. Я бы вам, Иван Митрофанович, звание адмирала присвоил.

— Мы все адмиралы на корабле Государства Российского. Плыдем сразу в трёх океанах.

Плотников чувствовал, как после сердечного приступа к нему вернулась энергия. Его переживания и несчастья не могли помешать громадному упорному делу, в котором рождалась мощь государства. Он, положивший жизнь на создание первоклассных заводов, был строителем государства, укреплял его, не давал покачнуться. А оно укрепляло его. Эти молчаливые, с осторожными движениями рабочие, вживлявшие в ракету электронное сердце, были лучше любых кардиологов. Он чувствовал себя исцелённым.

Когда он покидал завод и садился в машину, навстречу ему из другой машины торопился вице-губернатор Притченко.

— Иван Митрофанович! Иван Митрофанович!

— Зачем вы приехали, Владимир Спартакович? Мы бы могли встретиться в администрации.

— Иван Митрофанович, я торопился сказать. Торопился вас известить. — Притченко волновался, но решил сказать. На его лбу проступил розовый след от секиры, разделявший две половины лица.

Плотников видел, как наливается на лице Притченко след таинственной родовой травмы, мучительно предчувствовал, ждал дурного известия: “Пусть принесёт жертву во имя государства Российского. Во имя Государства Российского”, — звучало в нём металлическое эхо.

— Иван Митрофанович, стало известно, что ваш сын Кирилл уехал на Донбасс. Его друзья говорят, что он вступил в ряды ополченцев.

— Как? Ничего не сказав ни мне, ни матери?

— Друзья говорят, что он не вернётся в Оксфорд.

На центральной площади, у помпезного, с колоннами, здания администрации была установлена трибуна. На ней разместились именитые граждане: ветераны с потускневшими золотыми погонами, отягчённые грузом боевых орденов; герои труда, представлявшие прославленные заводы и животноводческие комплексы; участники кавказских войн со звёздами на груди; народный артист областного театра и ректор университета; депутаты и сенаторы, вице-губернаторы и министры, владыка. Все были знакомы Плотникову, все были ему опорой, все были столпами, на которых держалась губерния. Площадь была залита народом, в цветах, транспарантах. Главный проспект был заполнен демонстрантами, которые ждали сигнала, чтобы начать шествие.

Владыка нараспев прочитал молитву, наполнив площадь гулом неразборчивых слов. Старик-ветеран, держась трясущейся рукой за стебелёк микрофона, дребезжащим голосом рассказал боевой эпизод. Народный артист прочитал патриотический стих.

Плотников, выступая, старался одолеть тоску и тягостные предчувствия. Бодрым, сочным голосом уверенного в себе лидера он поздравил площадь с чудесным праздником. Площадь благодарно откликнулась, люди махали цветами, в воздух полетели шары. Его по-прежнему любили, прощали огрехи, не заметили злобных статей, желавших его очернить.

— Пусть в наших домах царит благополучие! Пусть наша родная губерния становится всё краше, всё обильнее! Пусть каждый сделает для народа всё, что сможет, а народ воздаст ему щедрой рукой! — так говорил Плотников. Но в нём продолжало звучать металлическое эхо: “Пусть принесёт жертву во имя Государства Российского! Кирюша, что ты наделал!”

Кончились речи, и грянула музыка. На площадь выходила колонна, и её возглавлял оркестр юных музыкантов. Девочки в коротких одинаковых юбках с уноением грохотали в барабаны. Мальчики задирали вверх горны и дули в них залиvisto и победно. Сияла медь, мелькали локвие ноги, рокотали палочки в девичьих руках, и такая бодрость, молодая сила, ликующая бравада наполнили площадь, что ветеран на трибуне прослезился, а вице-губернатор Притченко кинул музыкантам розовую хризантему.

Плотников улыбался, махал рукой, а сам тоскливо думал, что жизнь его влилась в чёрный желоб, из которого нет выхода. Злой поток несёт его к чему-то грозному, неотвратимому, сулящему гибель.

На площадь вступили представители районов, демонстрируя свои достижения. Окружённый рабочими в комбинезонах, двигался грузовик, плод совместного творчества немецкой фирмы и российского концерна. С толстыми стёклами, громадный, похожий на угрюмого быка, грузовик медленно катил. В его кузове весёлый жонглёр метал тарелки и кегли, пританцовывал и крутился.

Возвышаясь над толпой демонстрантов, сиял нержавеющей сталью робот, способный выпускать миллионы медицинских таблеток, — изделие французских дизайнеров, наделивших машину сходством с человеком. Робот, украшенный цветами, окружённый ликующим людом, напоминал языческого идола.

Следом на платформе плыли корабельные винты, сияя бронзовыми лепестками, похожие на фантастические цветы. Мерцали гирлянды электрических лампочек, крутились лопасти ветряной электростанции, качалась над головами белоснежная яхта. Плескались стяги корпораций, российские триколоры, флаги Германии, Бельгии, Франции, Китая. Губерния была открыта миру, и ветер, который колыхал полотнища, долетал сюда со всех концов света.

Плотников видел в колонне глав районов, которых недавно заставлял рисовать. Их рисунки, увеличенные, выведенные на ткань, красовались среди цветов и флагов. Его смешной портрет, где он был похож на огурец с растопыренными ручками, тут же. Главы махали ему, и он махал в ответ. А сам думал: какая злая сила выбрала его своей мишенью и бьёт без устали? И от неё не убежать, не укрыться...

Шли фермеры, работники животноводческих комплексов, птицефабрик и рыбных хозяйств. В грузовиках покачивались коровы, толпились овцы, величественно возвышал шею страус. Рыбоводы держали в руках огромных сияющих карпов. Некоторые карпы били хвостами и раскрывали жабры. Поеловы изготовили из овощей фантастический Кремль. Стены — из красных помидоров, дворцы — из белого картофеля, колокольни — из золотых кукурузных початков.

Трибуна хлопала. Министры поздравляли друг друга. Владыка смеялся, указывая пальцем на страуса. А Плотников страдал в предчувствии беды, бессильный её избежать.

“Союз десантников” шёл сомкнутым строем. Участники афганского похода, отцы семейств, извлекли из сундуков и комодов камуфлированную форму, выгоревшие голубые береты. Шествовали, радуясь своей общности с теми, кто после них воевал в Чечне, громил грузин под Цхинвалом, недавно отслужил срочную в десантных дивизиях.

За десанниками шёл “Союз пограничников”. Нацепив зелёные фуражки, повидавшие мир, послужившие Родине, они вернулись в родную губернию с Курил, с Балтики, из кавказских ущелий, с арктической кромки и не пропускают случая собраться вместе, пошуметь, вышить рюмку, искупаться в фонтане...

Члены военно-исторических клубов проходили по площади, не оставляя свои забавы. Они изображали схватки былых времён так истово, словно племя, щиты и копыя в их руках были грозным оружием, звенели неподдельной яростью. Русские витязи сражались с закованными в броню тевтонами. Стрельцы целились из пищалей в польских ратников. Кутузовские солдаты, примкнув штыки, атаковали французов. Советские пехотинцы в касках и плащ-палатках схватились в рукопашной с фашистами. Всё это лягало, гремело, стреляло, кричало “ура”, отзывалось разноязычными кликами.

Плотников вторил радостным крикам, а сам думал о сыне. Хотелось броситься прочь, на поездах, самолётах попасть в стреляющую донецкую степь, отыскать сына, выхватить его из этих кровавых вихрей, вернуться с ним в то восхитительное время, когда он и маленький сын лежали ночью на стогe клевера и смотрели на звёзды, которые роняли на них золотистые бесшумные капли.

Теперь на площадь, как цветастые букеты, высыпали народные хоры и танцевальные коллективы. В сарафанах и вышивках, в кокошниках и киках, в бусах и браслетах, они водили хороводы, распевали песни, взмахивали платками, обращая к трибуне нарумяненные лица.

Плотников вдруг ощутил прилив сил, радостное облегчение.

Трибуна начинала пустеть. Именитые граждане были приглашены в Дом приёмов, где предстоял праздничный обед. Плотников уступал дорогу ветерану, опиравшемуся на палку. Слышал, как позванивают его бесшумные медали.

Внезапно с кликами, визгом и клёкотом на площадь вынеслась ватага. Яростные молодые люди вскидывали стиснутые кулаки, плевали в сторону трибуны. Несли перед собой огромное сине-жёлтое полотнище, размахивали украинскими флагами. Выкрикивали: “Нет войне! Нет войне!” “Слава Ук-

раине! Героям слава!” “Губернатора долой! Губернатора в помой!” “Правый сектор” придёт и порядок наведёт!”

Перед ватагой пятился молодой человек с мегафоном, выкрикивал призывы, которым вторила вся гурьба. Плотников узнал в этом неистовом вожаке антифашиста Шамкина, который совсем недавно обращался к нему за помощью: просил оградить молодых демократов от нападений русских националистов. Теперь же он был яростным, ненавидящим вождём, возбуждавшим своей ненавистью молодых соратников. “Нам победу, вам гробы! Нам победу, вам гробы!”

Плотников был ошеломлён этим натиском ненависти, бранными криками, плевками. Эта ярость вновь заталкивала его в чёрный желоб, лишала воли, сулила несчастье.

Вслед за визгами, гримасами, украинскими флагами появились чудища в лохмотьях и рубищах: горбоносые ведьмы на мётлах, кикиморы в липкой ветоши, колдуньи и чародейки с распущенными волосами. Они подсакивали, были, причмокивали, несли на головах красный гроб, на гробу сидела большая жаба. Пробегая мимо Плотникова, колдуньи показывали ему языки, толкали в его сторону кумачовый гроб.

Плотников чувствовал, как растворяется его грудь, и на сердце ему прыгает жаба.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Две недели, как Кирилл Плотников вступил в ополчение и защищал Донбасс. Не было боев, не было артралётов. Была жизнь в казарме, жёсткая постель, грубая пища. Ополченцы дали ему прозвище “Плот”, и он привыкал к матерным шуточкам, суровым покрикиваниям, ночным тревогам. Их всех вдруг поднимали и отправляли в ночную степь на поимку неведомых диверсантов, которых так никто и не видел. Кирилл терпел неудобства, учился слушать команды. Несколько раз звонил по телефону матери, винясь перед ней, чувствуя, что его благополучная жизнь, та, что готовил ему отец, прервала своё безоблачное восхождение и устремилась в непредсказуемое, грозное будущее. Оно готовило ему встречу с чем-то непознанным и влекущим.

На второй неделе службы его подразделение отправили на охрану моста. Через реку вела железнодорожная ветка, которую стремился перерезать противник.

Мост был склёпан из ромбов и треугольников, прозрачный и легкий, висел над рекой, отражаясь в ней размытым серебром. Мост напоминал Кириллу загадочный музыкальный инструмент. Когда по нему проходил редкий состав, мост сначала вздыхал, как орган, потом барабанно ухал и на прощание, вслед уходящему составу, издавал рыдающий звук.

Ополченцы по обе стороны реки отрыли траншеи, выложили защитные стенки из мешков с землей, соорудили пулемётные амбразуры.

Общались через реку друг с другом по рации. Сходясь вместе, обедали у костра. Вновь расходились, отдыхали в блиндажах. Кирилл, стоя на посту под звёздами, смотрел, как переливаются светила в ромбах моста, который, как бредень, процеживал небо, вылавливая из него мерцающих рыб.

Дни стояли солнечные, прохладные. Река была синей, холодной. На крутых берегах желтела трава. К берегу была причалена лодка, в которую тихо ударяло течение, и по воде уплывали разводы. Пахло рекой, шпалами и тончайшими железными ароматами, которые источал мост.

Кирилл сидел в кругу ополченцев и чистил картошку. Приближалось время обеда. На усыпанной пеплом земле, где обычно разводили костёр, уже были сложены дрова. Кириллу как младшему вменялось чистить картошку, разводить огонь, приносить из реки воду в старом помятом ведре. Но вешать котелок над огнём, засыпать в кипяток картошку, кидать ложку соли, вскрывать штык-ножом банку с тушёнкой и вываливать в булькающую воду розоватое мясо с прожилками жира — всё это делал кто-нибудь другой, из бывалых, не доверяя городскому юнцу сотворение похлёбки.

Кирилл бережно снимал с клубня землестую кожу, обнажал белую картофелину, стараясь не срезать лишнее. Ему доставлял удовольствие этот нехитрый труд, который прежде был ему неведом. Ещё недавно он слушал профессоров Оксфорда, читавших ему международное право, теорию управления, экономику крупнейших мировых корпораций. Сидевшая рядом хрупкая студентка Лора из Южной Каролины нет-нет да и улыбалась ему милым розовым ртом. Теперь же он чистил картошку на берегу безвестной реки у стального моста, в амбразуре среди мешков поблескивал пулемёт, на бруствере окна лежала труба гранатомёта. И эти немолодые, усталые люди приняли его в своё братство, наградили доверием, поручили чистить картошку.

— А я тебе скажу, пустая ты голова. Если есть для тебя Бог, то и ты для него есть. А нет для тебя Бога, и тебя для него нет. И он тебя не защитит, не заслонит, когда тебя рвать на куски будут. Так и помрёшь без Бога, — ополченец Лука, с длинным желтоватым лицом и большими, как у лошади, зубами наставлял другого ополченца, по прозвищу “Чиж”. Рыжий, вихрастый, с маленьким острым носиком, он и впрямь напоминал птицу. Крутил головой, вращал круглыми глазами, словно порывался взлететь.

— И так помру, и сяк помру, — отвергал он нравоучения Луки. — Там Бога нет, — он указывал пальцем в небо, — а здесь зато есть. Ты для меня бог, и Лом для меня бог, и Леший бог. Если укры меня ранят, вы меня на себе потащите. Если я к вам голодный приду, накормите. Вы мои боги.

— Какой же ты, Чиж, человек поперечный. Ты слушай, чего умные люди говорят, и наматывай. У нас в селе посреди улицы крест стоял, большущий, из лиственницы, ещё старики поставили. Были большие жары, из леса хвосты огня по небу летели и падали на избы. Село загорелось, один дом за одним. Страсть. Огонь шёл с гулом, не подойти, всё сметал. Дошёл до креста и встал. Стих. По одну сторону креста головешки дымятся, по другую — цельные дома стоят. Их святой крест отстоял.

— Совпадение, — упорствовал Чиж, — Мало ли чего не бывает.

— Ты малOVER, малOVERом и умрёшь. Слушай дальше. За Луганском казачки блокпост держали. Всё, как положено: зарылись, ежи поставили, блоки бетонные навалили. Украин не сунуться. Ночь, на посту один казачок стоял, который обет дал: если с войны вернётся — уйдёт в монахи. Вдруг видит: засветилось, как облако. Он автомат взвёл. А облако подошло, и из него Богородица вышла. Говорит: “Буди своих, и уходите”. Казак своих разбудил и увёл в овраг. Только ушли, укры из “градов” по блокпосту вдарили. Раз, другой, третий. Бетон расплавился. А били впустую. Нет никого. Богородица того казачка спасла, чтобы он обет сдержал.

— Казачки что хошь тебе набрешут. У них языки без привязи, — упорствовал Чиж.

— Тыфу тебе! — рассердился Лука и отвернулся от малOVERа.

Слабо застучало. Появился товарный состав. Тепловоз тянул вагоны, гружённые углем. Въехал на мост, который изумлённо вздохнул, гулко застучал, зазвенел множеством стальных струн, каждая на свой лад, и когда последний вагон покинул мост, вслед ему прозвучало прощальное рыдание.

Кириллу казались драгоценными минуты, которыми исчислялась его жизнь, прохождение по мосту состава, затихающий в металлических фермах звон. Драгоценными были лица ополченцев, озарённые предвечерним солнцем, родные, понятные среди этих донских степей, синей реки, остроносой лодки, от которой по воде тянулись голубые разводы. И хотелось продлить, задержать эти минуты, как в куске янтаря задерживается и останавливается время.

— Что-то я не пойму, мужики. Мы тут воюем, воюем, не за себя, за Россию воюем, а где она, Россия? Смотрит, как нас укры “градами” посыпают? Стукнуть по столу: “Конец! Признаём Новороссию, как признали Абхазию!” И танки сюда, артиллерию, личный состав! А то тянем резину, людей напрасно теряем. Если б Россия откликнулась, мы бы сейчас в Киеве картошку чистили! — ополченец с позывным “Клык” недовольно качал головой, на которую была нахлобучена старая фетровая шляпа. — Не пойму, мужики, Россию.

— Ты, слышь, за Россию не думай, — степенно и рассудительно возражал ему ополченец Тёртый. — Она, слышь, тебя не оставит. Наш президент к этому, ихнему американскому чумазику подходит и показывает съёмку, где русская ракета муху за тысячу километров сбивает. “Вот, говорит, какая у нас умная ракета-мухобойка. Она, слышь, тебя, чумазика, где хошь найдёт, в форточку влетит и в лоб втемяшит. Оставь, слышь, Новороссию”. Такие дела.

— Тёртый, откуда ты знаешь, что наш президент ихнему говорил? Ты был там? — раздражался Клык, сбивая на затылок шляпу.

— Мне брат говорил. Он в Москве в МВД работает. Такие дела, — невозмутимо отвечал Тёртый.

Ещё один состав с другой стороны въезжал на мост. Он был собран из платформ и вагонов. Вагоны были полны металлолома, а на платформах, крытые брезентом, стояли тяжеловесные бруски, и виднелись автоматчики. Состав замыкал одинокий пассажирский вагон с мутными окнами, за которыми размыто белели лица. Мост прорыдал влед вагону, словно прощался с ним навсегда.

Кирилл срезал с клубня затейливый завиток, бережно откладывал на траву белую картофелину. Думал, что все они явились в эту донецкую степь, чтобы воевать за русское дело. И ему дано изведать это возвышенное чувство, жертвенную любовь, готовность погибнуть за Родину, как погибало до него множество безвестных героев. Он приобщён к их святому сонму.

— Вот ты, Тёртый, про брата рассказываешь, который в Москве живёт, — ополченец Плаха хмурил побелевшие на солнце брови, щурил синие невесёлые глаза. — А у меня брат в Житомире. Не хохол, а русский. Вместе росли, вместе в школу ходили. Почти в один год женились. На поминках матери рядом сидели. Я ему звоню: “Коля, ну чего ваши хохлы с ума посходили? Нас бомбят, города разрушают, детей убивают. Откуда у них эта злость?” А он на меня матом: “Ты, говорит, москаль проклятый! Кровопийца! Ты нашу Украину кровью залил! Чтоб ты подавился крымским яблоком! — Коля, — говорю, — в тебя чёрт вселился. Ты же русский! — Украинец я, а не русский! А тебя знать не хочу! — Что же, — говорю, — стрелять в меня будешь, если встретимся? Гранату кинешь? — Кину! Чтобы мозги твои москальские полетели. Не звони больше!” Это ж надо подумать! — Плаха кусал травинку, глядя на реку печальными синими глазами.

— Да, такие дела, — вздохнул Тёртый.

— Теперь не встретимся. А я ему в долг денег дал. Пропали деньги, — повторил его вздох Плаха.

Кирилл их слушал, не вникая в суть путаных, перелетающих с одного на другое суждений. Ему было светло. Казалось, в этом озарённом пространстве он существует одновременно ребёнком, и отроком, и юношей, и всей остальной дарованной ему жизнью. И всё в этой жизни обретёт свою полноту и гармонию. Он одержит победу, совершит свой подвиг, вернётся домой, где всё будет, как прежде. Будет мир, любовь всех ко всем, и это он своим подвигом вернёт дорогим ему людям чистоту и любовь.

— Мужики, про гранату это вы хорошо, — бодро воскликнул ополченец Ворон, недовольный печальными вздохами товарищей. — Пойти, что ли, в речку гранату кинуть? Рыбки захотелось. А то тушёнка из ушей лезет. А, мужики?

— Незаконно, — строго сказал Лука. — Рыбу глушить незаконно.

— Закон — война! — Ворон смотрел на бруствер, где у пулемёта стоял ящик с гранатами. — Омуток отыскать и шмальнуть!

— Рыба в войне не участвует. Ты, Ворон, не перед людьми, а перед Богом ответ держишь. Он тебе на суде эту рыбу покажет и спросит: “Зачем ты её гранатой убил? Мой, Божий закон нарушил?”

Ворон отмахнулся от Луки. Повернулся к Кириллу, который аккуратно снимал с клубня землястый завиток, открывая белую картофелину:

— Плот, ты картошку чистишь, будто с каждой юбку снимаешь. Небось, девок быстрее раздеваешь? Жрать хочется. Бери ведро, беги к реке за водой! — и, достав закигалку, стал разводить костёр.

Кирилл достиг картошки. Схватил мягкое ведро и пошёл вниз по берегу. Он принял как должное этот грубоватый приказ Ворона, готовый служить этим родным людям, исполняя их просьбы и наставления.

Он спускался к реке по тропке. Тропа была розовой, утоптанной, вела к лодке. На тропе лежала рыба, блестела чешуей, краснела плавниками. Видно, рыбак, поднимаясь от реки, обронил её, и она плоско лежала, высыхая на солнце.

Кирилл спустился к воде. Лодка острым носом была вытянута на берег. В ней не было вёсел. На дне лежал деревянный черпак, и повисла сухая водоросль. У лодки на воде толпились водомерки, скользили, борясь с течением, прыгали, оставляя на воде крохотные лунки.

Кирилл зачерпнул ведром воду, вытянул ведро, чувствуя литую тяжесть. Стоял, вдыхая речные запахи, глядя, как серебряный мост отражается в синей воде, словно зыбкое облако. Захотелось сесть в лодку, оттолкнуться и плыть, отдаваясь течению, в неизвестную даль.

Он взял ведро и стал подниматься по тропке, расплёскивая воду, чувствуя, как намочка штанина. Рыба лежала на тропе, и он осторожно её обошёл, боясь наступить. На высоком берегу были видны ополченцы, горел костёр. И вдруг он почувствовал тревогу, испуг, переходящий в страх, в ужас. Что-то страшное, неотвратимое и ещё не видимое, приближалось. Оно давило сверху, не отпуская его, и он нёс ведро, ставшее вдруг непосильно тяжёлым.

Стоя на тропе, ещё не одолев береговую кручу, он увидел, как вдоль насыпи движутся три боевые машины пехоты. Грязно-зелёные, заострённые, с плоскими башнями, из которых торчат тонкие пушки. Над головной машиной трепетал жёлто-голубой флаг. Было видно, как из кормы вылетает хвост гари.

Ополченцы ещё не замечали машин, продолжая мирно сидеть у костра. Кирилл застывшими зрачками наблюдал отточенное, направленное на ополченцев стремление. Он оцепенел, не смел шевельнуться. Вся его жизнь с того чудесного утра, когда проснулся в детской кровати и увидел в зеркале радугу, и мама расчесывала гребнем пышные волосы, — вся его жизнь остановилась, и время исчезло. Вся его жизнь до этой черты, когда у моста сидят ополченцы, горит костёр, лежат на траве очищенные клубни картошки, и вода проливается из мягкого ведра, — вся его жизнь остановилась и больше не имела продолжения.

Из головной машины ударило, полыхнул огонь. Вблизи ополченцев встал столб грязи и дыма. Ударили две другие пушки. Взрывы занавесили костёр и ополченцев, и Кириллу показалось, что они навсегда исчезли. Но завеса грязи опадала, и стало видно, как кособоко бежит к траншее Ворон, как скачивается в окоп Лука, как ползёт, поднимая зад, Плаха.

Кирилл бросил ведро и хотел бежать туда, где оставался его автомат. Но боевые машины отсекали его. Гремели пушки. За кормой растворились створки, и высыпались солдаты в касках.

Он стоял на круче, облитый водой, и смотрел, как чернеют взрывы. Среди них красным язычком продолжал гореть костёр.

Среди грохота и пулемётного стрёкота раздался вой, и возник тепловоз, одинокий, безумный, подающий непрерывный сигнал. Лязгая, помчался среди взрывов, ворвался на мост, промелькнул среди серебряных ферм и скрылся, оставив по себе рыдающий вопль.

Пехота шла за машинами, стуча автоматами. Кирилл в рост, не понимая, что делать, стоял на круче, и большая мысль, что там, среди взрывов, продолжает гореть костёр, и лежат на траве очищенные клубни, не оставляла его.

Увидел, как из окна в сторону машин метнулся красный клубочек, разматывая за собой курчавую трассу. Ударил в машину. Ахнуло гулко. Машина закрутилась на месте, а потом повернула и слепо пошла к реке, туда, где стоял Кирилл.

Она приближалась, из неё вырывался рыжий огонь. Кирилл смотрел, как она надвигается заострённым носом, над которым играет пламя. Он не мог убежать, не мог тронуться с места. Машина шла прямо на него, качая пушкой, дыша копотью. Прогремела рядом, обдав зловонием горелой

брони. Вырнула вниз по берегу. Скользила к реке, где была причалена лодка. Ткнулась в невидимую преграду, замерла, охваченная со всех сторон огненными язычками.

Кирилл увидел, как бегут к нему солдаты. У переднего под каской краснеет лицо, чернеет в дыхании рот, вздрагивают белесые брови. Вид воспалённого лица, скачущей на голове каски, сжатого в кулаках автомата разбудил Кирилла. Он повернулся и кинулся вниз к реке, по тропке, к воде, к спасительной лодке, которая его унесёт от этого моста, стреляющих автоматчиков, от яростного, красного, словно ошпаренного лица.

Лёгким скачком он перепрыгнул блестящую на тропе рыбу, обогнул грязные траки машины и чадную копоть, приближаясь к спасительной лодке. Почувствовал, как вонзилась в него нестерпимая боль, пронзила от позвоночника к шее. Последним усилием кинулся он к лодке, увидел на дне деревянный черпак и засохшую водоросль. Спихнул лодку в воду, и, падая на дно, теряя сознание, последним взглядом ухватил на воде серебряное отражение моста.

Очнулся, когда было темно. Он лежал на дне лодки, слыша мягкие шлепки воды о деревянные борта. Было прохладно, пахло рекой. Лодка плыла, поворачиваясь в медленных водоворотах. Он вспомнил свой бег, ужас погони, блестящую рыбу на тропе, липкий огонь подбитой машины. Вспомнил боль, пронзившую спину, серебряное отражение моста. Теперь боли не было. Но он боялся пошевелиться, чтобы она не вернулась, чтобы лодка, плывущая по ночной реке, оставалась невидимой с берега.

Пошарил рукой по дощатому днищу. Нашупал деревянный черпак. Пальцы коснулись приставшей к днищу водоросли. В теле была легкость, почти невесомость, от которой всё вокруг слабо звенело: и высокое небо с первыми звёздами, и река, пахнущая кувшинками, и берег, где что-то слабо светилось.

Он приподнялся, выглядывая из лодки. Здесь, в лодке, было темно, но берег был озарён. Он увидел, как вдоль берега вьётся дорога, и по ней мчится велосипедист — мальчик в пузырящейся рубашке с хохолком распушённых ветром волос. Было видно, как мелькают спицы. Мальчик, ползуя, из счастья глаза, направляет свой перламутровый велосипед по тёплой пыльной дороге, в брызгах перелетает ручей, несётся вдоль ржаного поля, и вдруг из колосьев, из стеклянной зелени взлетает птица небывалой красоты, с развеванным хвостом, огненными перьями, с переливами голубого, изумрудного. И этот мальчик — он, его велосипед, подаренный отцом, его рубашка забрызгана ручьём, перед ним с хлопаньем жарких крыльев летит небывалая птица сказочной красоты.

Кирилл уронил голову, и берег с мальчиком скрылся. Он понимал, что это виденье, его слабость, потеря крови рождают бред, но хотел его снова увидеть.

Осторожно, боясь напрячь раненую спину, выглянул через борт. Темнели избы деревни. У самой воды сидели мальчик и девочка, и она надевала ему на голову веночек из васильков и ромашек. Деревня, где он жил в детстве на даче, была совсем не у реки, но теперь с воды он различал резной наличник крайнего дома, колодец, у которого стоит мама в алом платье, и деревенскую девочку, к которой испытывает такую нежность... К её золотистым загорелым рукам, к маленькой выпуклой под ситцевым платком груди, к веночку, который она надвигает ему на лоб. И потом, уезжая из деревни, он прощался с ней у околицы, и она, провозжая его, подарила ему цветок нежно-розовой мальвы. Он поцеловал её первый раз в жизни, чтобы больше никогда не увидеть.

Кирилл, упираясь руками в днище, перевернулся и лёг на спину. Его голова находилась там, где сужались борта. Берег был тёмный, без огней, и в прибрежных зарослях кричала ночная птица.

Река расширилась, и берега почти исчезли. Там, куда он плыл, небо начинало светлеть. В лодку к нему вдруг подсели отец и мать, молодые, прекрасные, любящие друг друга. Кирилл испытал к ним такую нежность, такое обожание. Радовался, что теперь все они трое вместе и уже неразлучны.

Он лежал на тропе, не добжевав трёх шагов до лодки. Рядом горела подбитая боевая машина пехоты. По тропе спускались солдаты в касках.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Кирилла отпевали в кафедральном соборе под синими ангелами. Гроб был полон цветов. От них исходил тяжёлый сырой запах. Плотников сквозь слёзы видел большую белую лилию с жёлтой сердцевинкой там, где под белым пологом лежала рука сына. Лицо Кирилла было спокойно, губы твёрдо сжаты, на тонкой переносице голубела жилка, над белым лбом распушился непокорный хохолок, который так любил целовать Плотников.

В церкви собралось много народа. Сослуживцы, главы районов, представители деловых кругов, губернская интеллигенция. Печальной церемонией заправлял вице-губернатор Притченко, который несколько раз с состраданием подходил к Плотникову, словно хотел укрепить и утешить его в горе. Пришли школьные товарищи Кирилла, и Плотников увидел среди них девушку, которая прежде любила Кирилла, а потом вышла замуж за немецкого инженера. Девушка была в чёрном, с заплаканными глазами, положила в гроб малиновую розу.

Жена Плотникова Валентина Григорьевна, в чёрном платье, в чёрной прозрачной шали, отяжелевшая, с распухшим голубоватым лицом, стояла по другую сторону гроба рядом с сестрой, которая поддерживала её, не давая упасть. Сестра с крупным носом и волевым подбородком, несколько раз грозно посмотрела на Плотникова, запрещая ему приближаться. Плотников и не приближался к жене, которая, увидев его, стала захлёбываться, крутить головой, отталкивать от себя воздух, в котором находился Плотников.

Священник отпевал Кирилла, позванивал кадиллом, развешивал над гробом синеватые струйки дыма. И Плотников остановившейся мыслью никак не мог соединить белый лоб сына, перетянутый бумажным пояском, лилию над его мёртвой рукой и того милого мальчика, что бежал впереди него по картофельной борозде. Оглядывался, словно боялся, что отец отстанет, не поспев за ним к синим дубам, под которыми они станут искать золотистые жёлуди.

На кладбище начинали желтеть деревья. Ветер сдувал листья, и один жёлтый листок упал на лоб сына. Жена сняла листок, прижалась губами к сыновнему лбу и застыла, содрогаясь в беззвучных рыданиях.

Плотников смотрел на рыдающую жену, на рыжую яму, у которой стояли могильщики, на узорную ручку гроба. И был бессилён понять свою несчастную жизнь, в которой случилось непомерное, необъяснимое горе. Он был в нём повинен, что-то неосторожно колыхнул, что породило чудовищную волну, убившую сына. Ум был не в силах проследить всё, случившееся с того дивного дня, когда сын, ликуя, протягивал ему золотистый жёлудь, вплоть до этих минут, когда сын, отчуждённый, спокойный, лежал под покровом цветов, и в руке его белела могильная лилия.

Сестра жены нежно и властно оторвала Валентину Григорьевну от гроба. Все стали прощаться. Подходили и кланялись. Девушка, бывшая невеста, погладила голову Кирилла, и стала кусать себе губы. Плотников обнял под белым пологом твёрдое тело сына и поцеловал его в хохолок. Гроб подхватили, подвели под него верёвки, стали спускать в могилу. Комок земли, который подобрал Плотников, был холодный, каменный. Было слышно, как он ударил о деревянную крышку. Могильщики в две лопаты стали сыпать в яму грохочущую землю, последний краешек гроба мелькнул и скрылся. И провожая его страстным, слёзным, безумным взглядом, жена перевела этот взгляд на Плотникова. Устремилась к нему с истошным воплем;

— Убийца! Ты, ты убил! Убил моего мальчика! Будь проклят! Навеки! — Она кинулась к нему через груду земли, споткнулась, стала падать. Её подхватили, она билась, захлёбываясь в клёкоте, разрывая чёрную шаль. Её уводили, и могильщики, прервав на минуту свою работу, ровняли могилу, охлопывали лопатами земляной бугор.

Плотников, ослабнув, убрел в глубину кладбища, мимо мраморных надгробий, деревянных крестов, крашенных алюминиевой краской оград.

Его нагнал Притченко:

— Иван Митрофанович, дорогой!

Этот сердечный, слёзный голос вице-губернатора разъял жёсткие, сжимавшие его грудь крепи. Плотников упал на грудь Притченко и зарыдал.

— За что мне такое!

Притченко прижимал к себе его голову, гладил волосы, как это делают, когда утешают ребёнка.

В это же время эколог Лаврентьев отправился с грузовиком на городскую продовольственную базу. Там разморозился холодильник, и пришла в негодность большая партия рыбы. Лаврентьев дал денег директору базы, и рабочие перегрузили гниющую рыбу из холодильника в грузовик.

Лаврентьев пригнал грузовик к дому губернатора, открыл борт, и скользкая, в гнилой слизи рыба стекла на проезжую часть перед самым шлагбаумом. Лаврентьев кинул на гору зловонной рыбы плакат: “Природа мстит тебе, Плотников”, — и укатил.

Когда Плотников вернулся с кладбища, его машина уткнулась в липкое месиво рыбьей чешуи, плавников и недвижных рыбьих глаз.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

В Глобал-сити, в зеркальной мечети, встретились Головинский и пресс-секретарь Луньков. Местом общения была гостиная, украшенная бирюзовыми изразцами, состоящая из нескольких ярусов. На каждом ярусе размещался зимний сад, тропические лианы свисали вдоль стен глянцевыми космами, напоминая о висячих садах Семирамыды. Головинский и Луньков сидели на мягких табуреточках, изукрашенных резьбой и лазуритом. Головинский просматривал кардиограммы, на которых сердце Плотникова оставило рваный страдающий след.

— Великолечно, Пётр Васильевич. Так хороши, что хоть выставляй в Галерее современного искусства!

— Врач говорит, что болезнь приобрела необратимую динамику.

— Ещё маленький толчок, крохотное усилие — и произойдёт взрыв! — Головинский весело всматривался в синусоиду и всплески, и казалось, что его волнистый нос воспроизводит прихотливые линии.

— Это убийство, которое не оставляет следов, — произнёс Луньков, сравнивая пробежавшую вдоль носа волну с кардиограммой. — Этот метод нужно преподавать в разведшколах. Нам его не преподавали.

— Он уже преподаётся, Пётр Васильевич. Называется “Метод бесконтактного устранения”. Все эти старомодные снайперы, фугасы, яды уступили место методикам, перед которыми бессильны любая охрана, любая служба безопасности. То, что мы проделали с Плотниковым, можно проделать с президентом. Гибель настигнет его за кремлёвскими стенами, и не поможет тройное кольцо охраны, верные телохранители. Вы исследуете тайный волновод, соединяющий его сердце с внешним миром, и запускаете волну смерти.

— Восхищаюсь вами, Лев Яковлевич. Нас в разведке этому не учили.

Маленький фонтанчик мерцал струйкой воды, которая опадала в бассейн, выложенный агатами и яшмой. В бассейне плавали ленивые красные рыбы с вуалевыми хвостами, смотрели из воды выпуклыми глазами.

— Вы прекрасно поработали, Пётр Васильевич. Здесь нам больше делать нечего. Одни гробы. Готовьтесь к переезду в Европу.

— Мне казалось, Лев Яковлевич, что здесь, в губернии, только начинается наша работа. Место, как говорится, расчищено. Теперь вы его займёте. Можно начинать кампанию по избранию нового губернатора.

— Пётр Васильевич, неужели вы могли подумать, что мне интересна эта унылая губерния? Ну, убрали одно ничтожное насекомое, неужели мне ползать вместо него?

— Каковы ваши планы?

— Я забираю вас с собой в Европу. Там работает Агентство ближневосточных проблем. Это закрытый центр, который участвует в трансформации ближневосточного региона. В этом регионе скоро исчезнут одни границы и будут прочерчены другие. Исчезнут одни страны и появятся другие. Испепелятся одни города, и на их месте возникнут небывалые мегаполисы. Там начнутся огромные преобразования. “Великая шахматная доска”, о которой говорил Бжезинский, превращается в “великую гладильную доску”. По этому региону пройдёт раскалённый утюг, который разглядит все складки. Война, разведка, “цветные революции”, “бесконтактные устранения”. А в итоге — нефть. Хочу, чтобы вы возглавили один из департаментов. Вы прекрасно себя проявили и достойны высокой роли.

— Что это за роль, Лев Яковлевич?

— Расскажу, когда сядем в самолёт и забудем об этой губернии.

Красно-золотые рыбы подплывали к поверхности и смотрели на Лунькова выпуклыми глазами. Струйка воды тайно жужжала. Луньков был зачарован колдовскими словами Головинского, благоговел перед его могуществом, счастливо подчинялся его воле, был готов служить ему нераздельно.

— Ещё одно распоряжение, Пётр Васильевич, — Головинский приблизил пальцы к своему заострённому носу, но не касался его, ибо на самом кончике пульсировал едва заметный пузырек плазмы — признак интеллектуального возбуждения.

— Какое распоряжение, Лев Яковлевич?

— Через неделю у губернатора день рождения. Это особый день в жизни человека. В нём оживает младенческая память, вспыхивают звёзды, которые горели над его колыбелью, оживает пуповина, связывавшая его с матерью и всем остальным миром. В этот день человек беззащитен. Его пупок открыт для внешних воздействий. Вот поэтому в день рождения человек собирает гостей, принимает от них подарки, слышит поздравления, восхваления, которые укрепляют его жизненные силы. Но если в этот день случается несчастье, все силы зла, все чёрные энергии ударяют ему в пупок и губят его, иногда убивают. Вы меня понимаете, Пётр Васильевич?

— Нет, — растерянно произнёс Луньков. Он смотрел в бассейн, где плавали медлительные рыбы. Приближались к поверхности, хватали воздух большими немymi ртами, словно что-то хотели сказать Лунькову. И возникла путающая догадка, что эти рыбы были когда-то людьми, провинились перед Головинским, и тот превратил их в рыб. Теперь они томятся в своей немоте, селятся что-то поведать своими безгласными ртами, смотрят на Лунькова выпуклыми страдающими глазами.

— Поясняю, Пётр Васильевич, — с лёгкой досадой произнёс Головинский, раздражаясь недогадливостью Лунькова. — Если в день рождения Плотникова случится нечто, что причинит ему зло, то волна тьмы устремится к нему, вонзится в пупок и сокрушит. Тем более что он уже почти мёртв. Теперь вы поняли?

— Кажется, да, — прошептал Луньков. — Кто-то из близких Плотникова должен умереть, как умер его сын.

Большая красная рыба колыхалась в бассейне, ловила воздух, хлопая квадратным ртом. Смотрела на Лунькова страдающими глазами, словно хотела предостеречь, уберечь от той участи, которая постигла её.

— Вот именно, Пётр Васильевич, вот именно! — Головинский улыбнулся, и в его улыбке было что-то детское, наивное. — Теперь подумайте, кто?

— Не знаю. Может быть, его супруга? — пролетел Луньков, чувствуя, как его затягивает мутная тьма.

— Ну, что вы! Его жена обречена, и он свякся с мыслью о её смерти. Думайте дальше, Пётр Васильевич.

— Может быть, его возлюбленная, Валерия Зазнобина?

— Не она. С ней он расстался и пережил боль разлуки. Она уехала и, как говорится, “с глаз долой — из сердца вон”. А мы работаем с его сердцем. Мы с вами кардиологи, Пётр Васильевич! — Головинский счастливо рассмеялся, радуясь своей шутке.

— Кто же? — прошептал Луньков, глядя в тёмную глубину бассейна, где ему было уготовано место среди молчаливых рыбин. — Кто, скажите!
— Паола Велеш!

Получив от Лунькова деньги, Сёмка, оставшись один, пересчитывал купш, делил на две части, снова складывал. Отобрал несколько красных купюр и пошёл к Анюте. Та выкапывала на огороде картошку, сыпала в жестяное ведро. Дети перебирали клубни, отдавая мелкую семенную картошку.

— Ксюшка, Андриюшка, сбегайте на зады, там Витька Костыль змея пускает. Змей красивый, хвостатый.

— Куда ты их посылаешь? — недовольно спросила Анюта, подбирая под косынку белесые волосы. На её усталом лице светились синие глаза.

— Поговорить надо. Ну, — хлопнул Сёмка в ладоши, — бегом, робята, змея смотреть.

Дети убежали, а Сёмка и Анюта остались на огороде среди увядшей ботвы и мешков с картошкой.

— Деньги нужны, Анюта? Могу подарить.

— Гад ты, Сёмка. Обманщик.

— Возьми, — он протянул ей стопку купюр.

— Дашь, а потом отнимешь? Ты всегда, Сёмка, был обманщик и вор. У своих же, у соседей воровал. Совести не имеешь!

— Дура, Анька. Так и будешь под дальнобойщиков ложиться? Ты же красивая, красивше этой лахудры. Я тебя любил, Анюта. Жениться хотел. Споткнулся, ларёк ограбил и сел. Тюрьма разлучила. И нашей любви конец. Твой-то кобель отыскался, детишек тебе настругал и смылся. А я здесь, рядом. Всё жду тебя.

Сёмка стоял перед ней, опустил бессильно руки, воздев глаза к небу, где толпились тяжёлые тучи, копились холодные дожди, сулили долгое ненастье, долгую, на всю жизнь, напасть. Анюта вытирала ладони о передник. В её выпцветших синих глазах засветилось слёзное воспоминанье о былой мечте, о миновавшей любви, и тот, кого она когда-то любила, целовалась в тёплой ночи среди цветущих сиреней, этот человек стоял перед ней, исковерканный, изведённый, с погибшей, как и у неё, душой.

— Давай уедем, Анюта! Деньги есть. Заберём детишек и уедем в Европу, к черту из этого гнилого Копалкина. В Европу, Анюта!

— В Европу, — замороженно повторила она.

— У меня есть знакомый, большой человек. Денег — лопатой греб! “Говори, Семён, чего тебе надо. Всё сделаю”. Поедем с тобой в хорошее место, у моря. Дом купим, сад, машину стоящую. Детишек в школу отдашь — не чета нашей, занюханной. Хорошими людьми вырастут, без наркоты, без тюряги. Там народ вежливый, обходительный. “Чего желаешь, Семён Анатольевич? Какие просьбы, Анна Степановна?”

— Анна Степановна, — как во сне, повторяла Анюта. На её бесцветных губах заиграла слабая улыбка.

— Ну, давай, Анюта, сделаем дело, и на самолёт. Хошь — в Германию, хошь — во Францию.

— Во Францию, — вторила Анюта, как в забыты, роняя из рук клубень, звякнувший о ведро.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Ресторан “Бристоль” был лучшим в городе. Владелец для пущей привлекательности заведения взял на работу чернокожих — портье, гардеробщиков, официантов. В алях, с серебряными позументами камзолах негры сверкали голубыми белками, белозубо улыбаясь, показывали красные языки. Любезно раскланивались, принимали плащи и пальто. Провожали гостей за столики. Несли подносы с изысканными блюдами. Ресторан был украшен золотой лепниной с плафонами, где в лазури летали розовые купидоны, нежились пышные богини.

Головинский стал охрану наружу. Рослый негр, чьи волосы напоминали чёрный каракуль, был препровождён в кабинет для именитых гостей. Античные колонны поддерживали свод. Дорические капители сияли золотом. На плафоне был изображён воин на колеснице времён Троянской войны. Стол стоял у окна, и сквозь толстое стекло виднелся вечеряющий город, тёмная гладь озера, мост и горящие фонари, от которых на воде дрожали длинные отражения. В ресторане играла тихая музыка, пианист мягко перебирал клавиши рояля, скрипач, томно закрыв глаза, водил смычком.

Паола Велеш вошла в кабинет в сопровождении огромного негра-метрдотеля. Тот следовал на некотором расстоянии от неё, восхищённо улыбаясь. И казалось, он преподносит её Головинскому, как великолепное блюдо.

Паола была в сером платье с глубоким вырезом, из которого поднималась пленительная белая шея, в ложбинке груди мерцал на цепочке изумруд. Её стеклянные чёрные волосы ниспадали до плеч, а глаза под тонкими бровями смотрели тревожно, почти умоляюще, когда она увидела встающего ей навстречу Головинского.

Тот поспешил к ней, взял её прохладную ладонь в свою большую тёплую руку и бережно поцеловал:

— Прекрасная Паола, не мог отказать себе в наслаждении увидеть вас. Благодарен, что вы откликнулись на моё приглашение, — он говорил с ней так, словно их связывало хрупкое знакомство. И не было свирепого насилия, властного подчинения, с которым она странно смирилась, попав под злые чары всеильного человека.

— Я ещё не выполнила сегодняшнего задания. Вы мне велели прийти, — она робела, хотела понять, в чём провинилась. Её пугала эта вкрадчивая лобзность. Она могла быть обычным притворством, капризной игрой, за которой последует что-нибудь злое и оскорбительное.

— Никаких заданий больше не будет, милая Паола. Это было моё заблуждение — вовлечь вас в мою никчёмную затею. Я раскаиваюсь. Прошу меня извинить. За тем и пригласил вас.

Он усадил её за стол. Им принесли тяжёлые карты с гербами. Он помог ей выбрать несколько изысканных блюд. Они пили тосканское вино, ели мраморное мясо, которое недавно появилось в губернии, после того как крупный землевладелец выписал из Аргентины красную породу скота вместе со скотоводами. Те пасли шелковистых солнечных коров, расхаживая в загонах в ковбойских сапогах и шляпах.

— Да, дорогая Паола, больше не нужно писать эти обременительные заметки. Не нужно прилагать мучительных усилий. Я вас отпускаю, у вас больше нет передо мной обязательств.

— Что случилось? — испуганно спросила она. — В чём я провинилась?

— Напротив, это я перед вами провинился. Вовлёл вас в дурацкую историю, которая стольким людям испортила нервы. И, в первую очередь, вам. Теперь всё кончено. Простите меня.

Она молчала. Не верила этим смиренным уверениям, этим идущим от сердца словам. Ждала, что сейчас случится какой-нибудь уродливый выверт, и она будет посрамлена, испытает унижение.

Головинский поднял бокал. Посмотрел сквозь него на мост с фонарями, на дрожащие отражения, на близкое, белоснежное, с чёрными глазами лицо Паолы.

— Я хочу вам признаться. Моя жизнь состоит из вечной погони. Банки, корпорации, аукционы алмазов, тысячи встреч. Я вовлечён в бесчисленные интриги и комбинации, часть из которых я затеваю сам, а другая часть помещает меня в своё безумное колесо. Я успешен, многих обгоняю на этих скачках, многих обыгрываю в этой сумасшедшей рулетке. Но я несчастлив. В этом колесе нет места чудному голосу любимой женщины, её тихому взгляду, когда она смотрит на тебя с сочувствием, иногда с состраданием. Я не могу взять любимую за её дивную руку и поведать ей о моём сокровенном. Угадать в её любящих глазах, прав ли я или нахожусь в заблуждении. Услышать из её уст стих любимого поэта. Я не знаю, что такое счастье.

Паола с изумлением слушала, обнаружив на этом сильном, волевым, иногда беспощадном лице выражение беспомощности, тонкой боли.

— Я увидел вас. Поначалу, увлечённый своей игрой, своим сумасбродным театром, я видел в вас только талантливую исполнительницу моих замыслов. Но вдруг у меня раскрылись глаза. Я был поражён вашей женственностью, красотой вашей поющей души, которая напоминает голос одинокой чудесной птицы в весеннем лесу. Ваши маленькие этюды, которыми вы сопровождали свои журналистские опыты и которые я отсекал, — они великолепны. Это ваши дневники, откровения вашей души, из которых видно, как вы прекрасны, добры, доверчивы. Я их перечитываю почти каждый день и испытываю наслаждение. Я нашёл в вас ту, которую искал. Но я совершил слишком много дурного. Я ужасен в ваших глазах. И всё, что могу теперь сделать для себя и для вас, — это отпустить вас на волю, избавить вас от себя. За этим и пригласил на прощальный ужин.

Головинский чокнулся с ней. Паола, не понимая глубины услышанной исповеди, закрыла глаза. Глотала тонкую винную горечь.

— Теперь вы свободны. У вас впереди счастливая жизнь. Ваш талант, не сомневаюсь, сделает вас знаменитой писательницей. Вы полюбите достойного, благородного человека. У вас будет семья, дети. А я издали, не напоминая о себе, буду любоваться вами, радоваться вашему счастью. И если вдруг вам понадобится поддержка, я приду к вам на помощь.

Когда ужин закончился, Головинский проводил Паолу до дверей ресторана.

— Спасибо вам, чудо моё, — сказал он. — Вы ступайте, а я ещё немного посижу.

Она потянулась к нему и поцеловала в щеку, подумав, что сказка “Аленький цветочек”, написанная давно, теперь чудесно повторилась. Пошла на мост, улыбаясь, чувствуя сладкое головокружение.

Головинский вернулся в ресторан. Налил себе вина. Пил, глядя, как Паола удаляется по мосту.

Паола видела, как набегает на неё сутулый человек, ударяет её в грудь ножом. Боль вошла в неё, остановилась и обессилила. И она, слабо охнув, стала садиться.

Головинский из ресторанных окон видел убийство Паолы. Допил вино. Крикнул: “Счёт”, — и укатил в сопровождении охраны.

Плотников вернулся домой. Устало, печально обошёл пустые комнаты. Увидел в зеркале свое исхудалое, почерневшее лицо. Он никак не мог понять природы постигших его несчастий. Медленно подносил руку ко лбу, на котором пролегла горькая морщина. И вдруг он почувствовал страшный удар в живот, слепую разящую силу, будто ворвался снаряд и пробил зияющую брешь. И сквозь эту брешь из бездны повалила тьма.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Ручейков, редактор независимой губернской газеты “Обозреватель”, навис над компьютером измождённым жёлтым лицом. Нагнул горбатую спину, на которой, казалось, были сложены недоразвитые крылья. Мучаясь тиком, сгоняя со щеки невидимую муху, писал:

“Ужасная новость. Зарезана на мосту молодая прелестная женщина Паола Велеш, талантливая журналистка, бесстрашная обличительница неправды и лжи. Это она уличила губернатора Плотникова в прелюбодеянии и тайном разврате, разместив на сайте бесстыдную фотографию развратника и его любовницы. Она же обвинила губернатора в двуличии и стяжательстве, когда тот сначала построил себе неизвестно на какие деньги роскошную дачу, а потом, когда дача перешла в распоряжение детского приюта, сжёг её. Она рассказала о сыне губернатора, который учился в Оксфорде и приобрёл дорогую квартиру в Лондоне с помощью папеньки, который на всех углах проповедует патриотизм и любовь к России. Паола Велеш рассказала о глумливом

действие. Когда погребли останки советских воинов, губернатор, рекламируя свои свинокмплексы, распорядился облечь свиные туши в форму советских офицеров и доставил их на место траурной церемонии, отчего у нескольких ветеранов случились сердечные приступы. Как же реагировал губернатор Плотников на эти обличения? Он грозил наказать журналистку, стереть её в порошок, запечатать ей рот, ударить головой об асфальт. Теперь рот Паолы Велеш запечатан навсегда. Она рухнула головой на асфальт. Пусть найдут того, кто всадал в неё финский нож! Пусть найдут того, кто заказал и направил этот преступный удар!”

Статья Ручейкова легла на страницы газеты, на газетный сайт, а оттуда разлетелась по другим сайтам тысячей отражений. Наполнила интернет воплями и стенаниями.

Обозреватель губернского радио “Свежий ключ” Татьяна Валдайская, сделавшая недавно подтяжку, сияя девичьим лицом, зачитывала свою реплику. Её голос не скрывал рыданий:

“Её обожали друзья, боготворили мужчины, с неё брали пример начинающие журналисты. Она совершила гражданский подвиг, заплатила жизнью за свои убеждения. Она видела в губернаторе Плотникове задатки диктатора. Его “сталинская индустриализация” сулила стране несчётные беды. Слишком свежи в народной памяти ГУЛаг, “расстрельные рвы”, “винтики”, в которых превращали людей, строя чудовищную машину государства. Она всегда считала, что не человек — безгласный слуга государства, а государство призвано служить человеку. За это её ненавидел Плотников. Она рассказала о кощунственном деянии Плотникова, который распорядился написать икону Сталина, и дети из сельских школ приходили к этой иконе и клялись в верности сталинизму. Она оповещала об опасности всю страну! Всеми силами препятствовала назначению Плотникова на высокую федеральную должность. Она погибла за нас, за наших детей, за нашу свободу!”

Рыдающий голос Валдайской разнёсся по губернии, был подхвачен интернетом и катился слёзными волнами от Балтики до Тихого океана.

Блогер Кант вывесил в интернете свою фотографию — голый череп с набухшей синей жилой, очки с двойными окулярами, сквозь которые смотрят выпуклые розоватые глаза, — и написал свой пост:

“Губернатор Плотников — вестник злых времён. От него шарахается всё живое. В наших реках исчезла рыба, в лесах пропали грибы и ягоды, из людей ушло веселье. Заводы, как роботы, ползают по нашей губернии, пережевывая своими стальными челюстями наши дуга и дубравы. Мудрые старики говорили, что конец света наступит тогда, когда исчезнут лягушки и птицы и люди станут умирать молодыми. При Плотникове обнаружилось все признаки “последних времён”, и молодые, такие, как Паола Велеш, уходят с земли до срока. По всему видно, что Плотников не угоден Богу. Его больная жена ушла от него и будет умирать в одиночестве. Его возлюбленная не вынесла его мракобесия и спаслась бегством. Его сын, укрываясь от отца-деспота, пал на несправедливой войне, защищая независимость Украины. Когда Плотников приходит в церковь, то крестится левой рукой, и при его появлении гаснут лампы”.

Ведущий телекомпании “Карусель” по кличке Ласковый, с пшеничным лицом евнуха, любуясь своими холёными пальцами с розовым маникюром, вешал перед камерой:

— По всем законам политической этики губернатор Плотников должен подать в отставку, не дожидаясь конца расследования. И уверен, этот конец будет для него не утешительным. Таким образом, в губернии открывается политическое пространство для избрания нового губернатора. Есть много достойных персон, много незапятнанных деятелей, готовых послужить губернии. Среди них выделяется патриотический предприниматель Лев Яковлевич Головинский, который неумоимо работает на благо нашей земли. Театры, художественные выставки, привлечение столичных мастеров, покровительство благим начинаниям, благотворительность и меценатство — всё это превратит нашу губернию после унылого правления Плотникова в художествен-

ную столицу России. Кстати, убитая Паола Велеш пользовалась всемерной поддержкой господина Головинского, который скорбит вместе с нами.

Послание упало в интернет, породив множество всплесков, ядовитых огненных капель.

Обозреватель жёлтого листка “Все грани” Курдюков, с курчавыми сальными волосами, напоминавшими овечий парик, писал:

“Губернатор Плотников славится чрезвычайной трудоспособностью и спит менее трёх часов в сутки. Энергию он черпает, наблюдая на скотобойне умерщвление скота. Вид живой дымящейся крови приводит его в возбуждение и наполняет витальными силами. Говорят, что любовница покинула его из-за того, что он водил её на бойню. Паола Велеш однажды назвала Плотникова кровавым маньяком, за что и поплатилась”.

Интернет был ядовитым морем, в котором кипели нечистоты, бушевали отравленные волны, всплывали утопленники, звучали проклятия, хрипели сквернословья, раздавался истерический хохот. И вся ядовитая жижа, переливаясь перламутровой трупной плёнкой, просачивалась в души людей, делая их всё ужасней.

Плотников испытывал глухие удары в сердце, мучительные сжатия, колющую боль, словно под разными углами, с разных сторон били в него невидимые молотки, вонзались иглы и сверла, сжимались тиски. Он лежал в отдельной палате под капельницей, среди белизны, и доктор посещал его редко. От доктора веяло свежестью, душистым мылом, мягким сочувствием:

— Ваши перегрузки, Иван Митрофанович... Сердечко устало. Мы его сейчас подкормим, утешим и выпустим вас. А пока, Иван Митрофанович, лежите, и никаких дурных мыслей.

Врач уходил, мерцала капельница, бежали по трубочке струйки целительной влаги. Плотников пытался понять, где таится причина его несчастий. Какой роковой просчёт он совершил, после которого стала рушиться его жизнь, и одно несчастье влекло за собой другое, одна беда плодила другую.

Его навестил вице-губернатор Притченко. Принёс букет цветов:

— Это вам, Иван Митрофанович, от вашей секретарши Елены Фёдоровны. Поздравляет вас с днём рождения.

— Спасибо ей. Она замечательная.

— Все приходили, вас поздравляли, желали скорейшего выздоровления.

— Как идут дела? Залежался я тут.

— Всё в порядке, Иван Митрофанович. Я обзванивал глав районов. Белавин доложил, что запустили комплекс биодобавок. Им мешала вода с большим содержанием железа. Пробурили новые скважины, и теперь вода чистейшая.

— Хорошо, — произнёс Плотников. Он представил огромные серебряные башни среди лугов, и вид этих драгоценных башен окропил его светом, и вдруг стало легче дышать.

— Шурпилин сообщил, что делегация фермеров вернулась из Голландии. Там они увидели, как работают роботизированные фермы. Ещё четверо фермеров решили использовать роботов.

— Замечательно, — Плотников представил красных, с шелковистыми боками коров, окружённых незримой автоматикой, компьютерами, датчиками, среди которых животные становятся частью индустрии, не требующей вмешательства человека. И это было его, Плотникова, достижение, от которого стало легче на сердце.

— И ещё отличная новость, Иван Митрофанович. Был на металлургическом заводе, встречался с Фёдором Леонидовичем Ступиным. Всё готово к пуску. Через месяц откатают первую трубу. Вас ждут на открытие.

— Какой великолепный человек Ступин! Настоящий русский ум! На таких стояла и стоит Россия! — Плотников улыбался, его почерневшее лицо посветлело, на щеках появился слабый румянец. — Спасибо вам, Владимир Спартакович! Вы мой целитель, — Плотников протянул Притченко руку, с благодарностью сжимая его ладонь.

Подули чёрные ветры, содрали с деревьев последние листья. Хлестнули дожди, упали в железные бурьяны, погнали по рекам стальную рябь. Не стало дневного света. Чуть проглянут в сумерках туманные леса, тускло сверкнут залитые дождями просёлки — и снова тьма с коротким жутким закатом, с багровой зарей, на которой мечется воронья стая. И наступает долгая непроглядная ночь с воем ветра, стуком дождя о стёкла, с тревожными снами, в которые залетают души исчезающих, измученных и безвестных, ищут приюта. И в эту чёрную пору твоя душа наполняется безмерной тоской, неприкаянной болью. Ты погибаешь, чувствуешь своё сиротство на этой брэнной, слёзной, безысходно любимой земле.

Отец Виктор убирал свою пустынную церковь. Скудный свет сочился сквозь рябые от дождя окна. Он подмёл пол, кинул сор в высокую железную нетопленную печь, ждущую зимних холодов. Туда же бросил сухие букетики полевых цветов, стоявшие перед образами. Собрал из подсвечников остатки воска и бережно сложил в ящик. Проследил за бабочкой, которая, спасаясь от ледяных дождей, залетела в церковь и мелькала, то появляясь, то исчезая.

Отец Виктор прожил огромную жизнь, которую ощущал как непрерывную Божественную волю, сдвигающую череду времён, событий, людских судеб. И его собственную судьбу, которая крохотным отрезком легла в гигантскую дугу русского времени.

Маленьким мальчиком, замешавшись в толпу демонстрантов, среди флагов, шаров и транспарантов, он видел на Мавзолее Сталина. Далёкий, в голубоватой дымке, в военном френче, похожий на мираж, Сталин прошёл сквозь всю его жизнь как видение огненной силы, охватившей пламенем бессчётные жизни, в том числе и жизнь любимых и близких. Спустия много лет, когда валили в Москве советские памятники и коммунисты жгли партбилеты, он видел, как с кремлёвского дворца спускают красный флаг. Ветер хлестал полотнище, оно вырывалось из рук, и эта борьба с поднебесным флагом напоминало убийство красного коня. Тогда же, надев ордена, в годовщину парада сорок первого года он прошёл по брусчатке, одинокий солдат поруганной красной державы.

В детстве мама повела его в Парк культуры на трофейную выставку: пятнистые самолёты со свастиками, орудия с жестокими стальными стволами; страшного размера танк, в башне которого зияла пробоина с оплавленными краями. Отца уже не было в живых. На материнских глазах не высыхали слёзы. И, глядя на пробоину в “Тигре”, он своим детским сознанием понимал, что существует сила, отомстившая за отца. Эта сила заслонила их маленькую квартиру, где стояли его игрушки и висел бабушкин рукодельный ковёр. Через много лет под Кабулом он видел подбитый советский танк с оплавленным отверстием в башне. Кумулятивный заряд прожжёт броню и истребил экипаж. Стоя на трассе в бронежилете и каске, он старался связать те два подбитых танка, две пробоины, мальчика с изумлёнными глазами и мужчину с тоскливым взглядом, уставшего смотреть на горящие кишлаки и растерзанные тела.

Всё детство, отрочество и юность в его окно смотрела старая колокольня без креста, с деревьями на разрушенном куполе. Розовая на весенней заре, голубая в осенних сумерках, янтарная в январском солнце, седая в холодном инее, она неотступно, год за годом следила за ним, что-то тихо нашептывала, возвращала в нем тайные чувства, которые позже превратились в веру и творчество. Она незримо сопутствовала ему на грандиозных стройках, где рокотали бессчётные моторы, взрывались горы, вздымались плотины. И на военных учениях, где ревели танки, пикировали самолёты, уходили в небо тяжёлые ракеты. И на войнах, где он пробирался по африканской пустыне, никарагуанской сельве, по камбоджийским джунглям. Везде тихо и тайно светила в нём эта чудная колокольня. Уберегала от смерти, от уныния, от злых поступков.

В молодости он пережил острое неприятие власти. Дружил с диссидентами, кочевал по московским квартирам вместе с безумной компанией,

где главенствовал писатель, воспевавший тыму преисподней, автор чудовищных сцен, в которых отрицалось добро и господствовало абсолютное зло. Это поветрие скоро прошло, он порвал с диссидентами, и его писательский путь вёл по войнам, по секретным лабораториям, по коридорам власти, где решалась судьба государства. И когда оно, обессилив, пало, он до последнего вздоха его защищал. И даже позже, на баррикадах Дома Советов, по которому били танки, где начинался огромный пожар и где над его головой развевалось пробитое красное знамя.

Он был певцом красной эры, гигантского протуберанца, который вырвался из утомлённого человечества, обещал благодать, бессмертие, райское блаженство, однако в рёве военных битв, в истошных воплях и казнях исчах, не достигнув небес, и упал обратно в изнывающий ветхий мир, который проклял русское стремление к небу.

Теперь, став священником, готовясь к скорой смерти, отец Виктор посылал оставшиеся дни молитвам. В них умолял Господа спасти Россию, которая целый век провисела на дыбе. Снятая с дыбы, нагая, бессильная, она стала добычей злодеев, которые рвут её беззащитное тело. Он молился о красных героях и мучениках, которые отстояли Родину в веке минувшем и теперь на небесах сражаются за неё в веке нынешнем. Он верил, что красные святые, сохранив однажды страну, сохраняют её и теперь.

Он кончил прибирать храм. Зажжёт свечу перед образом Зои Космодемьянской. Бабочка порхнула, пролетела над свечой в неутомимых поисках своей крохотной зимней обители.

Отец Виктор утомлённо присел на лавку, слушая, как в окна стучит дождь.

Скрипнула дверь. Появилась женщина в платке, в утлом пальто. Лицо в сумерках было плохо видно, но платок и пальто были мокрыми, ноги в туфлях забрызганы грязью. Женщина с порога оглядела храм, не заметила отца Виктора и повернулась, чтобы уйти.

— Заходи, — произнёс отец Виктор. Женщина вздрогнула, разглядела священника, осторожно, боязливо приблизилась.

— Зачем пришла? — спросил отец Виктор. У женщины было бледное, измождённое лицо, под глазами темнели тени, мокрые волосы выбились из-под платка, глаза дрожали больным слёзным блеском.

— Чего ты хочешь? — повторил отец Виктор.

Женщина молчала, переступала промокшими туфлями.

— Как зовут тебя?

— Анюта.

Отец Виктор встал, тронул женщину за мокрый рукав.

— Кто ты? Чем занимаешься? — тихо спросил отец Виктор.

— Продажная баба. Проститутка. Хожу на дорогу к дальнобойщикам.

— Где живёшь?

— В Копалкино. Двое детишек, муж-то убёг, я и кормлю детишек. Иной раз думаю, взять бы их обоих и — всем вместе в омут, чтобы не мучиться.

— А что ты про нож, про телефон говорила?

— Сёмка Лебедь, разбойник. Обманул, денег дал, взял в подельницы. Я ему знак подала, он к женщине выбежал и зарезал. Выходит, и я убила? Теперь меня в тюрьму? А куда детишек девать? — она забилась, заголосила. Отец Виктор твёрдо прижал ладонь к её голове, остановил вопли. Он чувствовал, как из неё переливается в него тьма. И всё в нём стонет, горит, останавливается сердце, цепенеет ум. Просил у Господа помощи, чтобы тот послал ему свет фаворский, а он передал этот свет Анюте.

— Хорошо, что пришла. Нет на тебе греха. Была в неведении. Покаялась. Ступай с миром, — он снял с её головы ладонь, без сил опустился на лавку.

— Батюшка, можно ещё прийти? — Анюта робко смотрела на него, и глаза её слабо светились.

— Приходи, — сказал отец Виктор. Женщина ушла, а он остался сидеть в сумерках пустынного храма. Со стен взирали на него великие мученики, славные воины и полководцы.

В Глобал-сити, в библиотеке Вестминстерского аббатства, собрались те, кто называл себя “демократическим подпольем”, — политические и общественные деятели, не согласные с политикой губернатора Плотникова. Их созвал пресс-секретарь Луньков на конфиденциальное совещание. Вдоль стен стояли застеклённые шкафы, полные старомодных книг в истёртых кожаных переплётах, там же лежали пергаментные свитки. На большом смуглом глобусе были начертаны континенты тех размеров и форм, какими они представлялись современникам Колумба. За дубовым столом на тяжёлых готических стульях восседали гости, напоминая тайное собрание рыцарского ордена.

— Я пригласил вас, господа, с ведома Льва Яковлевича Головинского. Он отсутствует по чрезвычайным обстоятельствам, случившимся в нашем городе. Я говорю о зверском убийстве Паолы Велеш, с которой у Льва Яковлевича, как вы знаете, были особые отношения. Убийца не найден, но он назван блогосферой, которая честнее и осведомлённее любых следственных органов. Есть все основания считать, что убийца уйдёт от ответственности. Мы не должны этого допустить. Наше поведение в эти трагические дни покажет, способны ли мы возглавить общество, прийти на смену прогнившей авторитарной власти. Лев Яковлевич обращается к вам за помощью, а я напоминаю, сколько он сделал для каждого из вас, сколько средств пожертвовал на поддержание и развитие ваших организаций.

Луньков обвёл гостей сияющими глазами, какие бывают у человека после приёма возбуждающих препаратов.

— Плотников откупится, как пить дать. В следственном комитете, в прокуратуре его люди. Из Москвы ему ничего не грозит. Там “своих” не сдают, — эколог Лаврентьев, со значком “Гринпис” на тучной груди, едко усмехался, предостерегал собравшихся от наивной веры в торжество правосудия.

— Разве вы не видите, что это ритуальное убийство! — прогудел своим гулким мясистым носом правозащитник Разумников, член общества “Мемориал”. — Плотников — не атеист, нет! Он исповедует “религию Сталина”. У него есть икона Сталина, где Сталин изображён с золотыми рогами. Убийство Паолы — это жертвоприношение на алтарь сталинизма. Миллионы убитых Сталиным — это ритуальные жертвы дьяволу Мировой Революции!

— Сакральность этой жертвы в том, что она была принесена на самом видном месте города — на мосту для гуляний. Это устрашение всех нас. Этим убийством Плотников всех нас повязал кровью. Кровь Паолы на нас, господа! — Орхидеев наморщил лоб, так что его плотная курчавая шевелюра съехала почти на глаза.

— Это повод объединиться, господа! Нас всех перебьют поодиночке. Пора создавать единый штаб сопротивления! — Шамкин мучительно вытянул худую хрупкую шею, на которой бегал острый кадычок.

— Я сочинил “Блюз скорби” на смерть Паолы. Готов исполнить его в день похорон, — музыкант Беркович зашевелил своими толстыми губами, словно уже сосал мундштук саксофона.

— Хорошо бы попросить Льва Яковлевича увеличить финансирование нашей правозащитной деятельности, — сказал Разумников.

— Политика, знаете, не дешёвое дело, — вторил ему Орхидеев, поглядывая на Лунькова.

— Прекрасно, господа, вижу, вы вполне готовы к разговору, — Луньков обвёл их сияющим взглядом. — План таков. Вы созываете своих сторонников всех в одно место — к моргу, где покоится тело убиенной Паолы. Мы, в свою очередь, усиливаем вас людьми, которых пригласим из других регионов. Когда Паолу понесут в кафедральный собор для отпевания, мы по дороге резко меняем маршрут и идём к администрации. Там, под окнами Плотникова, ставим гроб и проводим траурный митинг, приглашая Плотникова принять в нём участие. Всё ясно?

— Ясно, — дружно ответили гости и направились к выходу. Эколог Лаврентьев по пути крутанул глобус. Ему хотелось рассмотреть чудище, плавающее в водах Индийского океана.

У морта, где находился гроб с телом Паолы Велеш, собирались люди. Её мать и отец, потерянные и согбенные, поддерживали друг друга. Пришли товарищи по журналистскому цеху, несколько близких друзей. Несли цветы представители общественных организаций, деятели культуры. Появлялись совсем незнакомые люди, обилие которых удивляло, ибо они своим крепким спортивным видом не были похожи на журналистов, учителей и актёров. Эти молодые пары стояли в стороне, не подходя к гробу. Но обступили его, когда пришла пора выносить гроб к автобусу, чтобы везти в кафедральный собор для отпевания. Кто-то предложил в знак любви к покойнице нести гроб на руках до самого собора. Молодые люди подняли гроб и двинулись, вытягивая за собой длинную медлительную толпу.

Автомобили уступали дорогу, некоторые печально гудели. Но когда пришла пора поворачивать в сторону ампириного, с золотой главой собора, процессия изменила ход и направилась по центральному проспекту в сторону администрации. Кто-то удивлялся, кто-то протестовал, но гроб, блестя полированной крышкой над головами, увлёк за собой толпу. И тогда же над толпой стали появляться плакаты: “Плотников, за что ты Паолу?”, “Правда о губернаторе ценою в жизнь”, “Губерния длинных ножей”. Перед гробом появился Беркович, он играл на саксофоне траурный блюз. Рядом Шамкин нёс на древке большую картонную финку, красную от крови. Из окрестных улиц и переулков выходили группы людей и присоединялись к процессии. У некоторых в руках были букетики цветов.

Толпа достигла площади перед зданием администрации, остановилась, заливая площадь. Гроб покачивался, словно вокруг колыхались волны. Тут же появилась трибуна, собранная из нескольких стремянок. Зазвенел, зарокотал мегафон.

Правозащитник Разумников тяжело взгромоздился на стремянки, и его гудкий носовой звук, усиленный мегафоном, полетел над площадью, ударяя в окна администрации:

— Почему бы вам, господин губернатор, не выйти к нам? Не взглянуть в заплаканные глаза раздавленных горем отца и матери Паолы Велеш? Не покаяться перед народом? Где ваша проповедь о справедливости, о Русской Победе? Эта Русская Победа лежит сейчас в гробу, и её сердце пробито ножом. Кто вложил нож в руку убийцы, господин губернатор?

Площадь роптала. Ревел саксофон. Качался полированный гроб.

Говорил Орхидеев, лидер либеральной оппозиции:

— Это политическое убийство указывает на приближение террора. Не исключаю, что вслед за убийством Паолы Велеш последует череда других политических убийств тех деятелей, кто не согласен с губительной политикой нашего губернатора. Предлагаю увековечить имя нашей национальной героини Паолы Велеш, назвав её именем одну из улиц нашего города и мост, где она была убита!

Площадь редела, рыдал саксофон, раскачивался гроб, словно убиенная жертва хотела сбросить крышку и что-то сказать толпе.

Говорил эколог Лаврентьев:

— Сначала заводы, построенные Плотниковым, уничтожили рыбу в реках и зверя в лесах. Затем его дороги и аэродромы сгубили ягоды и грибы, а от вредных выбросов увеличилось число раковых заболеваний. Теперь настал черёд самых талантливых и отважных деятелей нашей губернии. Давайте внесём гроб с телом нашей любимой Паолы Велеш в здание администрации и проведём гражданскую панихиду там, где вырабатываются губительные для нашей губернии решения. Быть может, это остановит убийц и безумцев!

Толпа колыхнулась, придвинулась к фасаду здания. Редкая цепь полицейских заслоняла вход. Саксофон призывно зывал. Толпа налегала. Гроб, поблескивая крышкой, плыл над толпой, приближаясь к входу.

Плотников в своём кабинете вёл переговоры с главой французской фирмы, пожелавшей построить в губернии завод по производству многожильного кабеля. Нарушив больничный режим, не внимая увещаниям врачей, Плотников выбрался из-под капельниц и приехал на работу, поклявшись врачам к вечеру вернуться в палату. Француз был рыжий, с узким лисьим

лицом, с большими ушами, полными рыжих волос. Дотошный, многословный, он сыпал техническими терминами, переводчик с трудом справлялся с переводом. Плотников раскрыл карту и показывал французу территорию для завода, схему коммуникаций, источники воды, электричества и газа. За окнами слышался шум толпы, неразборчивый лай диктофона, ноющая музыка. В кабинете появился Притченко и наклонился к Плотникову:

— Иван Митрофанович, считаю нужным вызвать ОПОН. Наша охрана может не справиться.

— Вызывайте, но прикажите не вмешиваться. В крайнем случае, пусть окружают здание вторым оцеплением, — с досадой ответил Плотников и продолжил беседу с французом.

К площади прибыли автобусы с ОПОНам. Бойцы выгрузились и стояли, опершись о щиты, в бронежилетах и круглых шлемах. Угрожающий вид полицейских ещё больше взвинтил толпу. “Убийцы!”, “Всех не зарежете!”, “Долой губернатора!” — неслось из толпы.

Натиск толпы усилился, цепь охранников прогнулась, отступила к входу. В них полетели пластмассовые бутылки с водой, пузырьки с чернилами. Гроб проплыл над головами и приблизился к входу в здание. Казалось, толпа желает использовать его как таран.

В кабинете вновь появился Притченко:

— Иван Митрофанович, быть беде! Надо разгонять толпу, иначе она ворвётся!

Француз подошёл к окну, уставил в него лисье лицо и, улыбаясь, сказал по-русски:

— У вас в России хорошо, стабильно!

— Иван Митрофанович, быть беде! — повторил Притченко.

— Наберите мне главного полицейского, — Плотников смотрел, как полированный гроб плещется у самого входа. Притченко передал ему телефон. — Степан Петрович, разгоняй хулиганов! Я приказываю! — И вернул телефон Притченко.

Бойцы ОПОНа загрохотали щитами. Отряд, похожий на огромную железную черепаху, стал наползать на толпу. Там, где щиты касались толпы, густо кипело. Молодые парни извлекли из чахлах букетиков обрезки труб, скрестили их с дубинками бойцов. Раздался хруст, лязг, истошные вопли; появились расколотые шлемы, смятые щиты, кровь на лицах. ОПОН теснил толпу, отжимал её от здания. Из соседней улицы вырвался ещё один клин бойцов, ударил в толпу. Стал рассекать, раздваивать. Били жестоко — молодых, старых, женщин в траурных платках, мужчин с поминальными венками. Толпа рассыпалась, разбегалась в разные стороны, освобождая площадь, втягиваясь в соседние улицы. Она катилась по проспекту, перевёртывая автомобили, круша витрины магазинов. Камни полетели в хрустальные стекла ювелирного магазина “Паола”. Толпа удалялась со стоном, как чёрный вихрь, таяла и стихала в каменной глубине города.

Площадь осталась пустой, в раздавленных цветах, в исковерканных венках. Перед входом одиноко стоял гроб с полированной крышкой. Перед ним, обнимая крышку, опустились на колени мужчина и женщина.

Плотников простился с французом. Изнемогая, в сопровождении охраны он направился к выходу, чтобы вернуться в клинику и лечь под спасительные капельницы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Плотников вышел через служебный ход, где его поджидала машина. Он шёл, окружённый охраной, не желая появляться на площади. С неё уже увезли гроб, убирали рассыпанные цветы, поломанные венки. Над площадью ещё витало эхо грохочущего взрыва, воздух был густ от воплей боли и ненависти. Плотников приближался к машине, когда из-за угла выскользнул длинный старомодный автомобиль с хрустальными фарами, хромированным радиатором и эмблемой орла, который сжимал в когтях свастику. Из авто-

мобилия поднялся крупный, властного вида господин, преградив Плотникову дорогу.

— Иван Митрофанович, простите ради Бога, хотел напроситься к вам на приём, но эти печальные обстоятельства, этот ужасный погром!

— Что вам угодно? — Плотников остановил взглядом охрану, которая уже порывалась оттеснить незнакомца.

— Я Головинский Лев Яковлевич. Столько времени пребываю во вверенной вам губернии, и всё не находилось случая вам представиться и выразить своё почтение.

— Да, конечно, нам следовало познакомиться раньше. Ваш вклад в развитие губернии мне известен. Но, право, сейчас я не смогу вас принять. Я еду в клинику. Мне ещё предстоит курс лечения.

— Я знаю об этом. У меня есть все ваши кардиограммы, вся история вашей болезни. И должен сказать, положение у вас незавидное.

— Что вы имеете в виду? Откуда у вас мои кардиограммы и история моей болезни?

— Видите ли, я и есть история вашей болезни. Я и есть ваша кардиограмма, указывающая на предынфарктное состояние.

— Вы с ума сошли? — Плотников хотел обогнуть стоящего на его пути человека, обращая глаза в сторону охраны. Но было что-то властное, мучительно больное и завораживающее в лице этого человека, что мешало ему это сделать.

— Что значат ваши безумные слова?

— Я хотел сказать, что являюсь причиной всех ваших несчастий.

— Как вы можете быть их причиной? — Плотников снова порывался пройти мимо этого назойливого и бестактного визитёра, заслониться широкоплечей охраной.

— Это я, зная о месте ваших любовных свиданий, послал на лодке фотографа, и он сделал тот разоблачительный снимок, где вы, обнажённый, сжимаете в объятиях свою любовницу. Это я сделал так, чтобы этот снимок попал в интернет, и его увидела ваша жена, ваш сын и ваша возлюбленная. Это я наблюдал, как все они уходят от вас, и вы мечетесь, не в силах их удержать. Это я любовался пожаром вашей замечательной дачи, в которой сгорали ваши любовные мечтания, ваши любимые книги, ваши замыслы великих преобразований. Это я прислал на траурную церемонию отвратительных мёртвых свиней в золотых погонах и орденах, после чего вся губерния стала смотреть на вас, как на святотатца. Это я сорвал ваше пафосное патриотическое шествие, включив в него колонны бандеровцев и “Правого сектора”. Они пронесли перед вами гроб, предвестник другого гроба, в котором оказался ваш сын, убежавший на войну от развратного отца. Это я сделал всё, чтобы убийство прекрасной Паолы Велеш было приписано вам. И на вас, на ваше обессиленное сердце пришёлся удар общественной ненависти. Я следил за тем, как разрастается в вас болезнь. Мне приносили ваши кардиограммы. Я перебирал их, и мне казалось, что я мну в руках ваше сердце, как кусок пластилина, вызывая у вас сердечные приступы, кошмарное ожидание смерти. Это всё я, Иван Митрофанович, я, Лев Яковлевич Головинский.

— Но зачем?

— Затем, что такие, как вы, мешают таким, как я, очищать мир от дряни, называемой словом “Россия”. Вы пытаетесь уверить мир, что русские — это самый добрый, терпеливый, милосердный народ, живущий с поднятыми в небо очами. Что русские ждут, когда с облаков спустится к ним Христос! Да полно вам! Русский народ ленивый, злобный, жестокий, вороватый. Он размножился благодаря плодовитости русских баб и кинулся покорять другие народы — покорять штыком, саблей, крестом, от которого стонали язычники. И тогда их сажали на кол. Вы завоевали цветущую часть планеты и изгадили её, осквернили. Отравили реки и озера, сожгли леса, изуродовали хрустальную Арктику. Спасаясь, от вас убегают звери, улетают птицы. Вы бич земли, земное зло, и человечество в ужасе при одной мысли о вас! Но, слава Богу, вас разделили и рассекли, как рассекают свиную тушу!

Вас опоилю вином и посадили на наркотики, и это умерило вашу агрессию. У вас отняли плодородные земли Украины, хлопковые поля Узбекистана, чистые пляжи Прибалтики. Теперь мы отнимем у вас Сибирь, отнимем Дальний Восток, и оставим чахлые Вологду и Смоленск. Там мы создадим этнографические заповедники. В них на забаву туристам вы станете распевать свои русские песни, щеголять в кокошниках, заниматься бортничеством и добывать огонь трением!..

Длинный, как чёрная оса, автомобиль с хромированным орлом на радиаторе скользнул в соседнюю улицу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Головинский вернулся в Глобал-сити, в свой кабинет в Вестминстерском аббатстве. Потребовал к себе Лунькова.

— Поздравляю вас, Пётр Васильевич. Операция “Песчинка” с блеском завершилась. Песчинка разрушила гору. Вы, как опытный работник спецслужб, доказали свою эффективность.

— Благодарю за высокую оценку моих скромных способностей, — улыбнулся Луньков. — Мы можем продлить операцию. Предстоят выборы нового губернатора. Я не вижу другой кандидатуры, помимо вашей.

— Моё пребывание в губернии было временным и теперь заканчивается. Следственный комитет начинает расследование в связи с беспорядками и убийством Паолы Велеш. Через три часа мы с вами вылетаем в Лондон. Я приказал подготовить мой самолёт.

— Но это так неожиданно, Лев Яковлевич! Мне нужно время, чтобы подготовиться!

— Пётр Васильевич, когда вы получите пожизненное заключение, у вас будет много времени, — Головинский раскрыл маленький кожаный кейс с золочёными замочками и укладывал в него бумаги. — Мой самолёт будет готов через три часа. Я сам за вами заеду.

— Но мы оставляем здесь столько собственности! Оставляем Глобал-сити! Ведь это всё наше!

— Всё наше будет нашим. И не наше тоже будет нашим! — засмеялся Головинский. — Через три часа я заеду за вами.

Луньков вернулся в свой кабинет в Спасскую башню. Перебирал бумаги. Большую часть отдавал на съедение режущей машине, которая превращала их в лапшу. Важные документы складывал в отдельную стопку.

Вошла секретарша:

— Пётр Васильевич, к вам Притченко.

— Зовите, — Луньков прикрыл заветную стопку белым листом, выключил чавкающую машину.

Притченко вошёл, сдержанный, точный, почтительный. Держал в руках аккуратную кожаную папку. Луньков предложил ему сесть.

— Пётр Васильевич, вы назначили мне встречу на завтра. Но появилась свежая информация, и я решил навестить вас сегодня. Это свежие кардиограммы Плотникова, получены час назад. Думаю, они вас обрадуют, — он раскрыл папку, где лежали бумажные ленты с линиями, всплесками и провалами. — Похоже, это конец губернатора.

— Владимир Спартакович, мне это известно. Операция “Песчинка” завершена. Хочу выразить вам благодарность от себя лично и от имени Льва Яковлевича. Ваша помощь была бесценна. Я знаю, Плотников искал источник, откуда происходит утечка самой интимной информации о нём. Но не мог догадаться, что этот источник — вы.

— У нас с вами, Пётр Васильевич, были одни и те же учителя, — произнёс Притченко. Вертикальная линия, разделявшая его лицо на две половины, стала розоветь, набухать, как старинный рубец, оставленный скальпелем.

— Ещё раз хотел поблагодарить вас, Владимир Спартакович, и сказать, что мы временно прекращаем отношения. Операция завершена, все деньги переведены на ваш счёт.

— Благодарю, Пётр Васильевич. Мне было приятно с вами работать. По тому, как развивалась операция “Песчинка”, могу судить о вас как о высоком профессионале, — рубец на лице Притченко багровел и взбухал. Казалось, что его голова составлена из двух частей, сшитых и склеенных. Он поднялся, собираясь идти.

— Один вопрос, — остановил его Луньков. — Простите за любопытство. Почему вы, вице-губернатор, человек весьма состоятельный, чьё благополучие зависит от благополучия губернатора, почему вы стали играть против него?

— А почему вы стали играть?

— Ну, мы с Головинским — понятно. Мы хотели остановить Плотникова. Он готовился переехать в Москву и там занять высшую должность в правительстве. Он мог сменить курс, разрушить модель, которую Головинский и его единомышленники и друзья утверждали в России с таким трудом. Неосталинизм, модернизация, сильное государство, — зачем лукавить, всё это поможет выйти России из кризиса. Миру не нужна сильная и агрессивная Россия. Миру нужна слабая и кроткая Россия, которая поила бы мир нефтью, кормила хлебом, передавала миру своих художников и учёных. Мы останавливали Плотникова в интересах цивилизованного мира. А вот вы за чем, Владимир Спартакович?

Рубец на лице Притченко багровел, становился синим. Казалось, вот-вот голова развалится на две половины, и откроются оскаленные блестящие зубы, губчатый мозг, пищевод, кровяная аорта.

— Моя фамилия Притченко. Я родился в Виннице. Там моя родня, могилы моих предков. Я украинец. Я хочу поражения России. Хочу, чтобы она скорей рухнула. Плотников и его деятельность — это шанс для России. Я хочу отнять этот шанс.

— Неужели так глубоко в вас сидит украинец?

— Нельзя предавать свой народ. Народ не должен предавать свою историю. Иначе этот народ — предатель. Разрешите идти, Пётр Васильевич?

— Куда ж вы теперь?

— В Украину. Там мой народ.

Притченко вышел, и Лунькову показалось, что в дверях тот схватился за голову, чтобы она не распалась.

Проводив Притченко, Луньков стал собираться в дорогу. Перевёл деньги в “Дойчбанк” и “Барклай”. Уничтожил лишние бумаги. Отправил несколько писем деловым партнёрам, намекая на изменившиеся обстоятельства. Он предвкушал предстоящий отлёт, рассматривая его не как бегство, а как начало новой увлекательной карьеры, где ему отведено место в могучей корпорации, в её аналитическом центре. Там собрались изысканные аналитики, рафинированные программисты, исследователи национальных культур и архетипов, работники спецслужб, подобно ему оставившие свои прежние организации, перешедшие на службу в промышленно-финансовую группу.

В этих сладостных предвкушениях он провёл три часа, ожидая машину Головинского. Но машины не было. Он подождал ещё полчаса, раздражаясь на необязательность шефа. Позвонил ему по мобильнику, но абонент оказался недоступным. Позвонил в приёмную, но телефон молчал. Набрал самый секретный номер, который использовался в чрезвычайных случаях, но дамский металлический голос сообщил, что номер снят с обслуживания.

Луньков испытал тревогу, неясное подозрение, дурное предчувствие. Вызвал машину и из Спасских ворот отправился в Вестминстерское аббатство, но там он узнал от охраны, что Головинский сорок минут назад уехал в аэропорт.

Дурные предчувствия усилились. Вскрывался чудовищный обман, вероломство. Он примчался в аэропорт и у начальника смены узнал, что Головинский, проделав все формальности, сел в самолёт, и его личный “Фалькон” вырывается на взлёт.

— Остановите, остановите взлёт! — кричал начальнику смены Луньков. — Останови, чёрт бы тебя побрал!

— Невозможно, Пётр Васильевич. Борт взлетает.

Луныков выбежал из стеклянного здания аэропорта. В вечерних сумерках, в аметистовом свете прожектора он увидел взлетающий, похожий на дельфина “Фалькон”.

— Будь ты проклят! — Луныков потрясал кулаками вслед самолёту, в котором Головинский, удобно откинувшись в кресле, подносил к губам бокал золотистого шабли.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Плотников лежал в палате под капельницей в забытии, подключённый к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Он не испытывал боли, а только ощущал внезапную пустоту в груди, словно падал в невесомости. И тогда на мониторе бегущая синусоида выпрямлялась и некоторое время оставалась ровной, но потом вновь наполнялась всплесками.

Ему казалось, он пробирается сквозь огромный железный город. Лязгали механизмы, скрипели зубчатые колеса, струились ленты эскалаторов, тянулись к вершинам фантастических зданий и вновь ниспадали к земле. По этим лентам сплошным чёрным валом тянулись люди. Незнакомые, в странных одеяниях, иные — в кокетливых шляпках, другие — в старомодных камзолах, третьи — в старых мундирах. Вдруг возникали знакомые лица: школьный учитель с едкими губами, диктовавший классу отрывок из “Войны и мира”; соседский паренёк, лихой футболист дворовой команды, попавший под электричку; красивая нервная женщина с чёрными волосами, жившая в соседнем доме. И он помнил, что видел в окне, как она утром надевает лиф на смуглую грудь.

Город теснился, окружал его колючим железом, он продирался сквозь фермы и балки, поднимался в лифтах под остроконечные крыши, спускался в подземные этажи и парковки. Он старался выбраться из грохочущего города, отрешиться от лиц, которые перед ним являлись. То это была его молодая жена, сидевшая у окна с гитарой и певшая ему пленительную песню, то немецкий банкир, благоухающий, радушный, с промывтыми одеколоном морщинами, то Лера, сжимавшая в руках мокрую розу... И снова странные здания, колючие башни, клёпаные сферы, стрельчатые мосты. Над ними, сквозь сети антенн, летели самолёты, горели рекламы, лучились звёзды, мохнатые, как серебряные пауки...

Он изнемогал, город его не отпускал, хватал железными пальцами, возвращал в свою металлическую сердцевину. И вдруг оборвался, исчез вдали туманным облаком.

Он оказался на пустыре, в тихом вечернем солнце, среди вялых бурьянов, и почувствовал облегчение, которое, вероятно, принёс запах польни. От пустыря вела просёлочная дорога в белой мягкой пыли. Она уходила в поля и дальше, в бестелесное сияние. Он увидел сына Кирилла, того, маленького, с весёлым хохолком на лбу, когда шли по картофельной меже, и сын боялся отстать, переставлял торопливо быстрые тонкие ножки. Теперь сын возник на пустыре, взял его за руку и потянул на дорогу. Плотников чувствовал в своей ладони хрупкие пальцы сына, его настойчивое усилие, с которым он тянул его. Сын был жив, обожаем, им ещё предстояло вместе прожить огромную жизнь. И Плотников, повинувшись сыну, ступил на дорогу, в её белую мягкую пыль.

Они шли, связанные неразрывной любовью, туда, где начинался ровный свет, и там кто-то невидимый, дивный ждал его вместе с сыном.

Плотников испытывал облегчение, освобождение от грохота, который больше его не преследовал. Он шагал за сыном, приближаясь к чудесному свету.

Отец Виктор молился перед иконами Святомучеников Великой Войны. Он обливался слезами. Ему казалось, что где-то в мире умирает родной человек, изнемогший от злых напастей, от козней искусных злодеев. Они нашли путь к его сердцу, влили в это сердце тёмные яды. Человек, уставший

сражаться с мерзавчим злом, уходил, оклеветанный, оскорблённый, оставив на земле множество незавершенных деяний. Теперь эти деянья остывали, их заволакивала тьма, и из этой тьмы раздавались торжествующие вопли губителей.

Отец Виктор не знал, кто этот обессилевший человек, какими деяниями он прославлен, кто отравил его сердце. Он только чувствовал, что у человека истекают последние минуты, и никто из людей больше ему не поможет. И отец Виктор взывал к тем, кто своим святым мученичеством отселил от России тьму, явил небывалое чудо, одержал Святую Победу. Эти мученики сохранили Россию в самые чёрные, крошечные дни и хранят поныне, бросаясь ей на помощь всей небесной ратью.

Он молился двадцати восемью небесным воинам, которые в волоколамских снегах ложились под танки врага. Молился чудной деве, которая, задыхаясь в петле, вдруг увидела Богородицу, несущую ей цветок. Молился юному лёгчику, чей истребитель врезался в чёрную тучу, нависшую над Москвой, рассекая эту тучу сверкающей молнией. Молился солдату с прекрасным лицом, который бросался на дот. Из его пробитого сердца вылетел ангел и повёл в атаку наступающий батальон. Молился убелённому сединой генералу, голые плечи которого хлестал ледяной поток, превращаясь в Иордан, в райскую Волгу. Он молился воинам, павшим за Родину и теперь обитающим на небе, среди райских садов. Нимбы над их головами волновались, струились. Глаза отца Виктора, наполненные слезами, видели в храме золотое зарево. Он слышал полёт бесчисленных крыл. Святые вняли его молитву и неслись к земле спасать человека.

Плотников шёл по белой дороге за сыном. Когда замедлял шаг, сын настойчиво тянул его, хохолок на его голове смешно распушился. Плотникову хотелось его поцеловать. Белизна приближалась, ноги не касались земли, и он блаженно закрыл глаза, чтобы войти в эту белизну и стать ею.

Услышал шум, как шумит летний лес, когда на него налетает тёплый ветер. Огромное дуновение подхватило его, повернуло вспять, понесло назад туда, где туманился металлический город. Плотников обернулся и увидел сына, крохотного любимого мальчика, который остался на дороге и махал ему вслед.

“Приду к тебе”, — подумал Плотников, видя, как приближается город.

Он очнулся в палате. Над ним склонилось лицо доктора. Плотников, едва слышно спросил:

— Сколько же я спал, доктор?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Наступила глухая русская осень, когда земля стальная, как наковальня. Сизые дужи хрустят под ногами, в них вморожены пузыри и жёлтый осиновый лист. Душе тоскливо от вида серой земли, от железного ветра; она мечтает о снеге, о белизне, о солнце. Но в тусклых сумерках шуришит позёмка, дрожат бурьяны, откована из железа колея на дороге. И такая беспросветная печаль, предчувствие горя, ожидание неизбежных утрат ложатся на сердце... И вдруг на бурьяны, на их чёрные стебли слетают снегири. Их красные грудки — как розы, их тихие свисты исполнены целомудренной нежности. Ты смотришь на эту птицу русского рая, благословляешь низкие тучи и вмороженный в лужу лист и благодаришь Господа за то, что он даровал тебе родиться и жить на этой любимой земле.

На металлургическом комбинате состоялся пуск огромного трубопрокатного цеха. Этого пуска с нетерпением ждали на газопроводе, идущем из Заполярья в Китай. На пуск приехали из Москвы члены правительства, чиновники, металлурги. Хозяин завода Ступин, оживлённый, торжественный, приглашал гостей на смотровую площадку. С площадки был виден туманный, уходящий вдаль цех, тяжеловесные прессы, электропечи.

Митинг открыл вице-премьер, властный, вальяжный, с загорелым лицом под белой пластмассовой каской. Он поздравил коллектив завода с трудовым

подвигом, поблагодарил за помощь стране, которая выходит с углеводородами на новые рынки Востока.

За ним выступил Ступин, с играющими от волнения желваками. Он говорил о русских предпринимателях, которые видят свои цели в России, готовы способствовать её процветанию и могуществу.

Третьим выступал губернатор Плотников.

На его почерневшем лице провалились щеки, в глубоких впадинах тревожно мерцали глаза. Бескровные губы сипло выговаривали слова:

— На этом железе незримо записаны наши мечты, упования и молитвы. В трудах и тратах мы одухотворяем железо, одухотворяем землю, которую нам вручила судьба. И в этом наша вековечная русская забота, вековечное русское дело — превращать тьму в свет, непосильные тяготы и горячие слёзы — в немеркнущую Победу.

Загрохотала поднебесная музыка. Стальной чёрный слиток лёг на рольганги, погрузился в печь. Пылающий алый брусок ушёл под пресс, который смял его, как пластилин. Брусок расплющивался в звоне и грохоте, раскачивался в лист и со свистом летел по рольгангам, разбрасывал красные искры. Могучий пресс гнул лист, давил из него трубу. Вдоль шва бежала фиолетовая звезда сварки. В жерле трубы кружились голубые кольца света. Трубы одна за другой, колокольню звеня, покидали конвейер, исчезали в туманной дали цеха.

Плотников смотрел на железные слитки, и ему казалось, что сквозь скрежет и грохот звучит чей-то родной и любимый голос.

На крыльце деревянной церкви стояли отец Виктор и Анюта. Падал мягкий бесшумный снег. Всё кругом было бело. Снег покрывал поля, лесную опушку, ложился на деревья, на кресты погоста, на церковную кровлю. Кисть рябины краснела сквозь снег. Отец Виктор и Анюта смотрели на снег.

*Всю ночь в полях
Метелица играла.
В селеньях и лесах
Всю ночь звенел мороз.
И в утренних лучах
На солнце засверкала
Прозрачная гора
Замёрзших русских слёз.*